

РАХМАТ ФАЙЗИ

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ



Киноповесть и рассказы

Перевод с узбекского

**Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана
«ЕШ ГВАРДИЯ»
Ташкент — 1978**

Рассказы известного писателя Рахмата Файзи разнообразны по тематике. Но их герои — пионеры, ребята дружные, всегда умеющие найти для себя дело интересное и полезное людям. В книгу вошла также киноповесть, легшая в основу популярного фильма.

Ф $\frac{70802-183}{356(06)-78}$ 118—78

С «Еш гвардия» — 1978.



РАХМАТ ФАЙЗИ

**Ты не
сирота**

Киноповесть

*Перевод с узбекского
Г. Марьяновского*



Безбрежное однотонно-серое небо. Клубятся громады тяжелых облаков, наползают друг на друга и, столкнувшись, вздымаются в гнетущем безмолвии. Небо...

И вдруг, словно черная молния, пронзает тучу тень фашистского бомбардировщика. Самолет пикирует, раздирая тишину устрашающим воем. Вой нарастает, становится все выше, резче, все более гнетущим и — разрешается глухим взрывом. И снова все повторяется сначала.

К прерывистому вою бомбардировщиков и тяжким стоном земли присоединяются новые звуки. Они вырастают в мелодию грозной героической симфонии. Это голос войны.

Пробившись сквозь облака, пикирует фашистский штурмовик.

Под ним широкая зеленая равнина, разрезанная извилистым проселком. Вдали полыхает село.

По проселку, прижав к груди черноволосого мальчишку, бежит женщина. Ветер сорвал с ее головы белую косынку, треплет седые пряди. В глазах женщины бьется страх.

Черная тень самолета настигает бегущую женщину. Пули частым градом секут землю у ее ног. Внезапно женщина пошатнулась, сделала несколько неуверенных шагов к одинокому обгорелому дубу, прислонилась спиной к стволу и, подгибая колени, стала медленно падать.

— Мамка!.. — испуганно вскрикнул мальчуган.

Несется вдоль дороги черная тень самолета. Как хищник, гонится она за маленькой фигуркой девочки. На мгновение накрывает ее, и нет уже на дороге маленькой фигурки.

— Мама! — несется вслед убегающей тени отчаянный детский вопль.

С грохотом распадается огненный столб взрыва, из-за кадра звучит детский голос:

— Мама!

Охваченный пламенем дом. Ползущие по улице немецкие танки. Крики детей:

— Мама!.. Мама!..

Дети на улицах. Дети в кузовах машин. Дети в телегах. Грязные, оборванные, раненные дети...

Очищается, светлеет небо. Легкие и воздушные, словно хлопковые, медленно плывут облака. Отступает, замирает вдали грозная симфония войны, и тихо рождается иная мелодия — спокойная и нежная, как пение жаворонка.

На фоне плывущих облаков возникает надпись:

«Шаахмеду Шамахмудову и Бахри Акрамовой, усыновившим четырнадцать осиротевших детей разных национальностей, родители которых погибли в боях с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, посвящается этот фильм».

И тотчас раздаются щемящие сердце женские причитания:

— Дитя мое! Родной мой! О, куда же ты, куда ты уходишь?!
Не оставляй меня, сынок мой!..

Невысокий дувал. Открылась двустворчатая калитка, и на улицу вышел высокий худощавый мужчина с вещмешком в руках. Маххаму-ака лет за пятьдесят. У него суровое, грубоватое лицо, изъеденное гарью кузнцы, густые насупленные брови, длинные усы, опущенные концами к подбородку.

Вслед за женщиной, обхватив плечи сына и бессильно повиснув на нем, вышла на улицу худенькая смуглая Фатима-апа. Горе придавило ее, помutilo взгляд.

— Не оставляй меня, сынок! Не уходи, Батырджан! — выкрикивает она сквозь слезы.

— Мамочка!.. Родная! — пытается утешить, успокоить ее Батырджан. — Не нужно. Я скоро вернусь. Вот увидишь...

Подошел неслышно старик-сосед и остановился безмолвно: что тут скажешь? Робко приблизилась какая-то девушка. Вышла из соседней калитки грузная, круглолицая женщина. И незаметно образовалось вокруг Батыра и его матери плотное людское кольцо. У одних на лице сострадание и печаль, у других — гневная решимость, а кое у кого — праздное любопытство.

Плачет Фатима-апа, прижимает к груди сына.

— Как же мы без тебя, Батырджан? Как я жить буду!

— Ну, мама... ну, не плачь, — беспомощно повторяет Батыр и, испытывая юношескую неловкость перед окружившими их людьми, осторожно освобождается от материнских объятий.

Маххам-ака бросил на жену строгий взгляд: «Ну довольно же!», и Фатима-апа отпустила сына.

— До свидания, мама, — сказал Батыр и повернулся к отцу. — До свиданья, отец... Провожать не надо... Успокой маму.

Отец и сын постояли рядом, глядя друг другу в глаза, будто навсегда хотели запомнить это мгновение. Крепко обнялись. Батыр потянулся за вещмешком, пожал руку отца.

— До свиданья, сынок... Один ты у нас — трудно... — с болью в голосе сказал Маххам-ака и отвернулся, чтобы скрыть накотившуюся слезу, а Батыр закинул за плечо вещмешок и быстро, не оборачиваясь, пошел по дороге.

Женщины сгрудились вокруг Фатимы, сочувствуя и стараясь утешить. А грузная круглолицая Бувиниса-хола сказала со вздохом:

— Какая польза от слез, соседушка? Война касается всех. Твой сын не один уходит.

Но Фатима-апа не слышит ее слов. Она молча смотрит вслед удаляющемуся Батыру, и в глазах ее застыло чувство, так хорошо знакомое и понятное всем матерям земли. Внезапно, словно

ухватившись за последнюю возможность удержать сына еще хоть на одну минуту, она закричала:

— Батырджан! Батырджан, ты забыл персики!

Батыр остановился.

Фатима-апа догнала его и, протягивая корзину с персиками, быстро заговорила:

— Они свежие... ты покушай... В дороге, знаешь, пригодятся... и товарищам тоже... Совсем свежие...

Батыр взял корзину, поставил ее на дорогу. Короткий миг они стояли безмолвно — мать, расстающаяся со своим ребенком, и сын, уходящий на возможную смерть. Затем Батыр нежно обнял хрупкую фигуру матери и, оставив на земле корзину с персиками, повернулся и пошел. Он идет посреди дороги, обрамленной с обеих сторон тополями, и кажется, будто они прощаль-но машут ему вслед своими зелеными вершинами.

Кружит в воздухе, медленно падает на мокрую мостовую желтый тополевый лист. Деревья оголились, и теперь уже не слышно их загадочного шепота. Неузнаваемо изменилась улица, по которой ушел от Фатимы ее сын. Много с той поры прошло тоскливых дней и ночей, наполненных воспоминаниями и предчувствиями, надеждой и отчаяньем. Но Фатима ждет.

Вот и сейчас сидит она на пороге калитки, завернувшись в теплый платок, сидит недвижимо, устремив взгляд в глубину вечерней улицы.

Проходят мимо нее люди — молодые и старые, в одиночку и парами, — и у каждого на лице своя печаль и общая забота. Доносятся до Фатимы обрывки фраз — клочки чужой жизни.

— Вчера передавали — Смоленск, а завтра... — нервно говорил своему спутнику пожилой военный.

— ...попробуй, подели фунт хлеба на три рта... — донесся разговор проходивших мимо женщин.

Пробежала по улице стайка неунывающих мальчишек.

— А у Бахтияра отец, знаешь, кто? Сержант!

— Тоже скажешь! Лейтенант. Сам видал.

Откуда-то издали ветер донес голос радиодиктора: «...четыре танка... Гранаты к бою!.. Пал смертью храбрых...»

Фатима сидела, неотрывно глядя вдаль. Она не заметила, как подошел и остановился над ней Махкам-ака, и, когда он окликнул ее, вздрогнула.

— А, отец, — поднялась Фатима с порога. — Поздно вы сегодня.

Они вошли во двор, посреди которого возвышалась глиняная супа, поднялись на айван.

— Пусто стало в нашем доме, отец. Холодно...

Махкам-ака устало присел на курпачу, поджав под себя ноги. Фатима достала из сундука меховую шапку, показала мужу. — Починила сегодня. Может, отправить ему? Пригодится, а?

— Вырос уж он из нее. Мала.

— Тогда на базар схожу. Другую куплю ему, побольше.

— Не нужно. Все у него есть.

— Только ласки материнской нет, — всхлипнула Фатима-апа. — Как он там, мой мальчик?..

— В тебе этой ласки, как воды в океане: двадцать сыновей залить ею могла бы. На всех хватило б.

— А нет ни одного, — удрученно вздохнула в ответ Фатима-апа.

Замолчали, каждый занятый своей думой.

Из-за дувала, с улицы, доносился детский гомон.

— Бей, Фаттах, бей по воротам!

И вдруг загудела и с грохотом упала на землю водосточная труба. Махкам-ака быстро поднялся, вышел на улицу и через минуту вернулся, ведя за руку упирающегося мальчугана.

— Я не хотел, дяденька. Мы в футбол играли. Я больше не буду, — и неожиданно громко заплакал. — Дя-аденька...

Махкам-ака подтолкнул его на айван, строго спросил:

— Что с тобой сделать?.. Как тебя наказать, сорванца?

Фатима-апа подбежала к мальчугану, заслонила его от мужа, сказала взволнованно:

— Не нужно его наказывать — он случайно. Правда, мальчик? Как тебя зовут?

— Фаттах, — ответил тот сквозь слезы.

— Ну вот и хорошо. А кто твой папа?

— Генерал. На фронте он самый главный.

— А мама где?

— Она на фабрике работает. Я теперь дома самый старший мужчина.

— Что ж это, старший, у тебя шапка в прорехах? — ласково рассматривала его Фатима-апа.

— В войну играли. Ранило меня вот сюда — порвалась.

— Да ты, наверное, голоден, Фаттахджан?

— Так, немножко только.

— Тогда садись, пообедаем вместе.

— Нет, меня ребята ждут... Отдайте мне мячик, тетенька, мы больше не будем.

— Отдам, отдам. А ты поешь с нами. Подождут тебя товарищи.

Махкам-ака внимательно наблюдал за этим разговором, и в грустных глазах его засветилась какая-то новая, очень важная и радостная мысль.

— Побудь с нами. Я тебе, знаешь, какую шапку дам? меховую! — уговаривала мальчика Фатима-апа и протянула ему меховую шапку Батыра. — Ну-ка, померь.

Фаттах надел шапку и утонул в ней.

— Велика, — сокрушается Фатима-апа. — Ну ничего. Ты посиди, я ее быстро ушью.

— Нет, мне идти нужно.

— Зачем торопиться? Успеешь.

— Да чего вцепилась ты в парня? — с напускным недовольством вмешался в разговор Махкам-ака. — Посиди, да поешь, да побудь! Не нужна ему твоя забота.

Фатима-апа рассердилась не на шутку:

— Черствая у вас душа. Недаром молотобоец. Только с железом обращаться и умеете.

— Так я пойду? — просительно произнес Фаттах.

— Иди, и чтоб больше здесь футбол не устраивали! — строго напутствовал его Махкам-ака.

А Фатима-апа все-таки умудрилась сунуть в руку мальчугана свежую лепешку.

Фаттах вырвался из неволи с ликующим кличем. И дружки приветствовали его появление ответным мощным «Ура!»

И снова воцарилась в доме Махкама-ака тягостная тишина.

— Не знаю, чем теперь и заняться, что делать с собой, — пробурчала Фатима-апа.

Махкам-ака ничего не ответил, только едва заметно улыбнулся.

По широкой асфальтированной улице, внимательно рассматривая вывески, идет Махкам-ака. Вид у него встревоженный, озабоченный. Вот остановился он перед воротами с надписью «Детский дом», нерешительно открыл калитку и переступил порог.

Картина, открывшаяся перед ним, была исполнена жестокого смысла. Дети — еще совсем маленькие и беспомощные — толпились в углу небольшого двора. У одних на лицах страх и растерянность, у других — беззаботные улыбки: они еще не способны осознать ужаса происходящего.

С болью смотрел Махкам-ака на грязных, оборванных детей, на перевязанную руку светлоголового мальчика, на изодранную куклу в руках кудрявой девочки. Отчужденно, в стороне, стоял восьмилетний мальчуган, прижимая к груди потрепанную книжку. Девочка, одетая кем-то в солдатскую гимнастерку, доходившую ей до щиколоток, горько и беззвучно плакала.

Махкам-ака долго смотрел на эти детские лица, на съежив-

шиеся, оборванные фигурки, и лицо его выдавало глубокое душевное смятение.

От группы женщин и стариков, собравшихся вокруг стола в противоположном конце двора, время от времени отделялся то один, то другой. Они подходили к детям, гладили их по нерасчесанным головам, угощали — кто конфетой, а кто и сухарем и, приседая на корточки, что-то тихо говорили.

У стола было шумно. Говорили все разом — нервно и громко. Иногда в говор людей врывается еще более громкий плач ребенка. А в ушах Махкама-ака звучала мелодия грозной симфонии войны — мятежная, трагическая мелодия, в которой эхо далеких взрывов перемешивалось с человеческим стоном и рыданием.

Из тяжелой задумчивости вывел Махкама-ака высокий женский голос. Махкам-ака обернулся к столу и увидел полную, средних лет женщину с энергичными, волевыми движениями.

— Дорогие сестры, отцы и матери! — говорила женщина за столом. — Мы переживаем тяжелые дни. Что тут долго толковать — сами знаете: война!.. Война лишила этих ребят родителей. Но наш народ не даст им остаться сиротами. У нашего народа доброе, щедрое сердце. Оно согреет их, как солнце... Уже многие увели отсюда своих новых сыновей и дочерей. Вот и вы...

Махкам-ака видит старика, поднявшего на руки русого мальчика. Рядом с ним женщина, приласкавшая кудрявую девочку.

— ...Усыновив детей украинцев, мы докажем, что и в трудный час испытаний остались верными друзьями и кровными братьями...

Девочка в украинском наряде аппетитно жует лепешку, не подозревая, что разговор идет сейчас о ней.

— ...Взяв на воспитание русского ребенка, мы лучше всяких слов скажем о своей преданности старшему брату...

Стоят, взявшись за руки и пугливо озираясь по сторонам, два русских мальчика.

— ...Наша человечность не позволит бросить на произвол судьбы эту маленькую молдаванку. Она нам не чужая. Она наша дочь!

Грустная, угрюмая сидит у забора девочка в молдаванском костюме.

— Мудрые слова говорите, сестрица, — одобрительно кивает седой старик.

— Правильно... Верно... А как же иначе! — единодушно откликается толпа.

— А записывать, оформлять кто будет? — подходит к столу женщина с кудрявой девочкой на руках.

— Пожалуйста, прошу вас.

Вслед за женщиной подошел к столу беловолосый старик с мальчиком, а за ним еще и еще.

Махкам-ака стоял на прежнем месте, задумчиво смотрел на детей, прислушивался к разговорам.

Принаряженная женщина громко говорила мужу:

— Я хочу, чтоб ребенок был красивый.

— Давай возьмем вот этого, — указал мужчина на худенького шести-семилетнего мальчугана.

— Ну что ты! — всплеснула руками женщина. — Куда нам такого хилого, белобрысого... Лучше возьмем девочку или вот этого милого, хорошенького. Ладно?

По лицу Махкама-ака пробежала болезненная гримаса, будто женщина наносила обиду ему самому. Он видел, как сверкнули слезы на веснушчатом детском личике, когда женщина присела около розовощекого большеглазого мальчика и протянула ему конфету. Он заметил, как снова сверкнула искра надежды в глазах веснушчатого, когда к нему направилась сгорбленная прихрамывающая старушка. Но старушка взяла за руку девочку в украинском платице. Веснушчатый наклонил голову и стал носком ботинка ковырять землю, чтобы никто не заметил его слез.

Но Махкам-ака заметил. Он медленно подошел к нему, положил руку на вздрагивающее худенькое плечико, спросил с неожиданно теплой интонацией:

— Чего плачешь?

Веснушчатый засопел, ответил сквозь слезы:

— А я не плачу.

— Молодец. Настоящий мужчина не должен плакать... А как звать тебя?

— Витя.

— Хорошее имя, красивое... Так я вот что думаю, Витя: не пойти ли нам пообедать?

Витя недоуменно посмотрел на сурового с виду, хмурого Махкама-ака и вдруг по-детски доверчиво прижался к его ноге.

— Пойдемте, дяденька.

— Вот это правильно. Пообедаем, обдумаем все хорошенько, а там сам решать будешь: понравится у нас — останешься, не понравится — скажешь, обратно приведу. Ладно?

— Ладно, дяденька, — прошептал Витя и поднял посветлевшее лицо.

Уже вечерело, когда сидевшая у калитки Фатима-апа заметила мужа. Он шел своей обычной неторопливой походкой, ведя за руку незнакомого мальчика. Фатима-апа поднялась, пытаясь разглядеть, кого же это ведет Махкам-ака. Но когда они подо-

шли, ничего не спросила, только внимательно осмотрела мальчика с ног до головы.

— Сына привел тебе. Примешь?

Фатима-апа растерянно засуетилась, заговорила взволнованно:

— Что ж вы здесь стоите? Заходите, заходите же.

Витя смущенно затоптался на месте, потупил взгляд.

— Заходи, сынок, — ласково подтолкнула его к калитке Фатима-апа. — Как твое имя?

И так как Витя упорно молчал, ответить пришлось Махам-аку:

— Его зовут Витя. Из Смоленска он. Отец — на фронте...
Мать при бомбежке...

— Здравствуй, сынок, — не нашлась что сказать Фатима-апа. — Тебе будет у нас хорошо.

Она взяла Витю за руку и повела его за собой на супу.

Мальчик еще не освоился. Он сидел на краешке супы и исподлобья рассматривал двор.

А Махам-аку, наблюдая, как хлопочет вокруг Вити любвеобильная Фатима-апа, сказал с напускной строгостью:

— Кормить нас будешь?

— Сейчас, сейчас. Я ведь сегодня плов приготовила.

— Везет тебе, Витяджан. Как пришел, так сразу плов на столе. Доброе начало.

Махам-аку не спеша прошел на айван, снял верхнюю одежду.

— Фатима-буви, ой, Фатима-буви! — раздалось из-за калитки.

— Входите, соседка, — отозвалась Фатима-апа

Во двор вошла грузная, круглолицая Бувиниса-хола.

— Нет ли у вас молока до завтра? Купила на базаре — скисло. Ах, чтоб скисла уже эта корова и ее хозяйка! — И вдруг, заметив Витю, все так же сидящего на краю супы, громко спросила: — Это что за гость такой важный у вас? Яблоки, наверное, в саду рвал, поймали? Я бы их всех, голодранцев, на одно дерево повесила!

— Это наш сын, — спокойно ответила Фатима-апа.

— Сын?! — удивленно и вместе с тем недоверчиво воскликнула Бувиниса-хола. — Что-то я не заметила, когда вы его родили.

— Сегодня.

— Усыновили, значит. Сирота. Э-хе-хе, Фатима-буви, напрасно вы это делаете: сирота есть сирота — вы и ласкайте, и хольте его, а он все чужим останется, как волчонок в отаре, — говорит Бувиниса-хола, пока Фатима достает и наливает ей молока.

— Витя, поздоровайся с тетей, — не обращая внимания на пророчества Бувинисы-хола, спокойно сказала Фатима-апа. Но Витя заупрямился и ни в какую:

— Не хочу.

— Вот-вот, видите, — обрадованно подхватила Бувиниса-хола. — Вы еще намучаетесь с ним, помяните мое слово.

Желая прервать этот разговор, Махкам-ака крикнул с айвана:

— Ой, Фатима, кормить сегодня будешь?

— Иду, Махкам-ака, — отозвалась Фатима и предложила соседке: — Прошу вас, отведайте наш плов.

— Не могу, соседка, — некогда. Пойду уже.

Фатима-апа поставила хантахту, накрыла ее скатертью. А с улицы слышался взволнованный голос Бувинисы-хола: видимо, она тут же собралась соседок, чтобы поделиться с ними неожиданной новостью:

— Я и говорю, зачем вам это, уважаемая Фатимахон? Разве вашего Батыра уже нет в живых? И чужой все равно кровного своего не заменит. Не оберетесь вы с ним хлопот, с сиротой.

— Черные у вас мысли, Бувиниса-хола, — ответил ей низкий женский голос. — У нас говорят: кто дерево посадил — недаром жизнь прожил. А тут не дерево — живой человек, ребенок.

К разговору присоединилось еще несколько женских голосов.

— Какие муки выпали на долю детей! Бедняжки...

— Будь она трижды проклята, эта война!..

— Где нашла своего сироту Фатима-хола?

— А что, и вам на старости лет захотелось чужой бешик качать?

Женщины за дувалом зашумели, заговорили все разом, перебивая друг друга, и разобрать что-либо в этом общем шуме стало невозможно.

Махкам-ака махнул рукой, взял кувшин с водой, позвал Витю:

— Пойдем, сынок, руки помоем.

Голоса за дувалом стихли. Махкам-ака поливал из кувшина Вите на руки, думая о чем-то своем. Витя помыл руки, вытерся.

— Давайте я полью вам, — подошла Фатима-апа.

Махкам-ака отрицательно покачал головой, подождал, не догадается ли Витя сам, а затем позвал его и протянул кувшин.

— Ну, теперь ты мне полей... Вот, спасибо... — И, помыв руки, добавил: — Пойдем посмотрим, что там мать приготвила.

Махкам-ака поднялся на супу, сел, скрестив ноги. Витя по-

пытался сделать то же, но никак не мог удобно устроиться. Наконец он распрямил ноги и протянул их под хантахту.

Фатима присела и поставила перед ними блюдо с дымящимся пловом.

— Ешь, — пригласил Махкам-ака и, набрав пригоршню риса, отправил ее себе в рот.

Витя поискал глазами ложку и, не найдя ее, в замешательстве стал шарить под хантахтой. Махкам-ака догадался, что Витя так упорно там ищет.

— Ой, мать, дай-ка нам ложки! — крикнул он склонившейся над очагом Фатиме-апа и, когда она принесла, протянул одну ложку мальчику, а другой стал есть сам.

— Вкусно? — спросил он, когда Витя распробовал плов.

— Очень вкусно... просто замечательно! — восторженно отозвался Витя и вдруг застыл с ложкой в руке: над дувалом показались несколько озорных мальчишеских лиц.

Махкам-ака заметил их, сказал спокойно:

— Кто в гости — заходи через дверь, а на дувале не висеть!

Головы над дувалом мгновенно исчезли, и обед продолжался.

— Ну, сынок, останешься у нас? Нравится тебе? — спросил после небольшой паузы Махкам-ака.

Витя согласно кивнул и спросил с опаской:

— А вы меня выгонять не будете?

— Что ты, зачем же выгонять?.. Кто же выгоняет своего сына?.. А ты ешь, сынок, ешь плов...

В каждом возрасте — свои увлечения. Для семилетних мальчуганов такое увлечение — игра в чижика. И дети, которые шумели сейчас на улице у дома Махкама-ака, ничем не отличались от других своих сверстников. Они играли азартно, с полной душевной отдачей. Чтобы отвлечь их от этого занятия, требовалось происшествие необычайное, удивительное, как солнечное затмение или появление нового автомобиля. Таким именно необычайным происшествием стало появление на улице незнакомого мальчика. Они уже слышали, что Махкам-ака усыновил какого-то сироту, они даже успели разглядеть его через дувал, но встретиться с ним вот так, лицом к лицу, им довелось только сейчас.

Игра остановилась, смолкли азартные возгласы. Мальчики молча рассматривали новичка, который робко жался к калитке. Потом они так же молча подошли к нему, окружили.

— В чижика умеешь играть? — спросил наконец самый смелый.

— Умею.

— А как тебя зовут? — спросил другой.

- Витя.
- А меня — Карабай. Давай дружить будем, ладно?
- Давай.

Разговор оживился.

- Ты откуда приехал?
- Из Смоленска.
- Войну видел?
- Сам воевал!

— Правда? — восхищенно уставился на Витю чумазый мальчуган. — А бомбы видал?.. Я тоже видал — в кино, так пищит, пищит, а потом — ух!.. Аж страшно стало. А ты боялся?

— Испугаешься...

— У меня папа тоже на фронте, — похвастался мальчик в новенькой ферганской тюбетейке.

— А мне брат гармошку прислал, — с детской непоследовательностью заявил вдруг Карабай. — Послушай, как играет. — Он извлек из-за пазухи губную гармонику, начал неумело играть. — Нравится?

— Интересно...

— На, сам поиграй.

Витя взял гармошку, повертел ее, приложил к губам. Дул он что есть мочи, от напряжения раскраснелся, но песни все-таки не получалось.

— Не умею, — сознался он с сожалением.

— А ты дуй сильнее, тогда получится, — посоветовал Карабай. — На ней, знаешь, все можно сыграть.

— Витя! — раздался из дома голос Фатимы-апа.

— Зовут меня.

— Постой немного.

— Нет, пойду. Возьми гармошку, — сказал Витя, хотя по лицу его видно было, что расставаться с гармошкой ему очень тяжело.

— Оставь себе, — ответил щедрый Карабай. — Выходи потом, играть будем, ладно?

— Ладно, — обрадованно воскликнул Витя и побежал к

дому.

На многолюдной улице между двумя высокими домами втиснулась кузнечная мастерская. Гудит пламя в горне, звенит металл под ударами молота. В кузнице жарко — пот катится по лицу Махкама-ака. Отбросив готовую поковку, он подходит к раскрытому настежь окну, зачерпывает из бака холодную воду и жадно пьет.

Сквозь окно видна широкая улица. Сколько лет вот так, оторвавшись на минуту от кузнечного горна, смотрит на нее Махкам-ака. Кажется, все ему здесь знакомо — дома напротив,

и будка «Союзпечати», и хлебный магазин с широкими витринами. И все же Махкам-ака долго смотрит на улицу, узнавая и не узнавая ее. Так иногда встречаешь давнего друга и удивляешься: он и — не он. Ничего не переменялось у него в лице: все тот же нос, и те же глаза, и усы словно бы те же. И все же он не тот, каким был прежде. Очень внимательно нужно присмотреться к этому лицу, чтобы заметить причины перемены: новое выражение в глазах, новая складка у губ, новая морщина на лбу.

Новое выражение наложила война и на облик этой хорошо знакомой Махкаму-ака широкой городской улицы. Исчезли прохожие в ярких и нарядных костюмах, на стенах домов появились плакаты, с которых смотрели обезумевшие глаза женщины, и ветер, казалось, нещадно трепал ее всклокоченные седые волосы; у хлебного магазина напротив выросла очередь, и с каждым днем в этой очереди становилось все меньше молодых и все больше старых. Можно было подумать, что очередь стареет.

Махкам-ака тяжело вздохнул и отвернулся было от окна, но в последний момент взгляд его задержался на маленьком оборванце, стоявшем у дверей магазина с протянутой рукой. На мальчишке была изодранная рубашка, тяжелые большие башмаки, перевязанные проволокой, а на голове выдавшая виды зеленая шляпа с полями, закрывавшими ему пол-лица.

Женщина, вышедшая из магазина, отломала кусок хлеба, и мальчик поспешно спрятал его в тряпичную сумку.

Махкам-ака взялся за молоток, но глаза его нет-нет да и притягивала к себе жалкая фигурка беспризорного. А мальчишка у магазина встряхнул свою сумку и, убедившись, видимо, что сделанного запаса на сегодня достаточно, направился к кузнечной мастерской, с детским любопытством разглядывая горн, людей в кожаных фартуках, инструменты и поковки.

Махкам-ака весело подмигнул ему, и мальчик ответил широкой улыбкой.

— Водички нету у вас, дяденька? — совсем осмелев, спросил мальчуган. Судя по широкому скуластому лицу и косому разрезу глаз, он был казахом.

Махкам-ака кивнул на бак: пей, мол, сколько душа желает. Мальчик зачерпнул полную кружку и долго пил, продолжая наблюдать за работой кузнецов.

Неожиданно в оконном проеме выросла еще одна детская голова. Раскосый оборванец презрительно осмотрел незнакомца с ног до головы и отвернулся.

— Здравствуйте, герой! — приветствовал их вышедший из кузницы рыжебородый великан.

— Я вам, папа, обед принес, — кинулся к кузнецу опрятный мальчуган.

— Спасибо, сынок.

— Ешьте на здоровье.
— А ты кто такой? — обратился рыжебородый к оборвышу.
— Я? Сарсенбай! — бойко ответил тот.
— Откуда же это ты такой?
— Издалека. Джусалы, знаете? Оттуда.
— Пешком, что ли, шел?
— Зачем пешком? Поездом приехал.
— Видно, не в мягком вагоне. Может, умоешься?
— Бестолку это, дяденька. Сегодня умоюсь, завтра снова испачкаюсь.

— А отец-мать есть у тебя?
— Отца на фронте убили, мать умерла. Теперь я сам себе хозяин.

— Есть хочешь, хозяин?

Вместо ответа Сарсенбай потряс полной сумкой.

Кузнец ест, поглядывая то на сына, то на Сарсенбая.

— Поешь, — протягивает он сыну мозговую кость.

— Нет, папа, вы ешьте сами. Я уже обедал.

— Ешь, ешь!

Сарсенбай завистливо прислушивается к этому разговору, бросает на опрятного мальчугана неприязненные взгляды.

— Эй, мастер! — позвал голос из мастерской. — Вы скоро?

— Иду! — отозвался рыжебородый и, погладив сына по голове шершавой мозолистой ладонью, скрылся в мастерской. Он подошел к горну, взял клещи и посмотрел в окно: Сарсенбая там уже не было.

Фатима-апа стояла у прилавка книжного магазина, сосредоточенно рассматривала обложки.

— Нет ли у вас букваря? — спросила она немолодого продавца.

— Есть... Решили, значит, что учиться никогда не поздно? Правильно, тетя.

— Что вы, что вы, я для сына. — Фатима-апа открыла книгу, просмотрела и вернула обратно. — Пожалуйста, на русском.

— На русском? — удивился продавец, но расспрашивать не стал.

— И чернильницу, и ручку тоже, — попросила женщина.

...Возвращалась Фатима-апа вдоль железнодорожного полотна. Она шла, задумчиво глядя на снежные вершины гор, отчетливо вырисовывавшиеся на горизонте, шла торопливой, семенящей походкой, и лицо ее было согрето легкой ласковой улыбкой.

Грохот идущего поезда Фатима-апа слышала, когда он был уже совсем близко. Она остановилась и, поворачивая голову вслед за каждым проходящим вагоном, приветливо махала рукой. А из вагонов неслась бодрая песня. Ее пели молодые загорелые парни, чьи лица мелькали перед Фатимой в проемах ва-

гонных окон... Промчался поезд, стихла, растаяла в осеннем воздухе задорная песня молодых солдат, а Фатима-апа все еще стояла, и на лице ее уже не было прежней ласковой, задумчивой улыбки. Может быть, потому, что в этот момент ей представился Батыр? Как он там? Что с ним?

Фатима-апа встрепелась и быстро пошла дальше. Она не остановилась, чтобы приветствовать встречный поезд, и только когда первые вагоны поравнялись с ней, на ходу повернула голову, посмотрела и застыла на месте: к вагонным окнам прилипли бледные детские лица. Перед ней прошел вагон с сорванной крышей, другой со следами пожара. Кое-где разбитые вагонные окна были занавешены одеялами, простынями, рубашками. Вдоль вагонов крупными белыми буквами были сделаны надписи: «Минск», «Киев», «Смоленск», «Харьков», «Смерть фашистским оккупантам!..»

Тяжело пыхтя на подъеме, поезд медленно прополз мимо Фатимы. Прополз и скрылся. А она еще долго стояла и взволнованно смотрела ему вслед.

Резвая девушка с сумкой почтальона шла по улице, где живет Махкам-ака. Бувиниса-хола, стоявшая у калитки, окликнула ее:

— Салтанат!

— О, Бувиниса-хола, здравствуйте!

— Кому это письма ты принесла?

— Вам нет, тетя.

— Всю ночь видела какие-то сны... А это кому, что у тебя в руках?

— Махкаму-ака.

— От сына, наверно, а?.. Ты слышала, они взяли мальчика, не то русского, не то еврея. Некрасивый такой... И зачем им это нужно? Все равно сыном для них не станет.

Салтанат с негодованием посмотрела в глаза Бувинисе-хола, ответила холодно:

— Подрастет он, тетя, красивым станет. Главное, чтоб лицо рябым не было. — Салтанат ушла, а Бувиниса-хола провела ладонью по своему изъеденному оспой лицу и яростно сплюнула: — Дурная девчонка! Чтоб тебе жениха не дожидаться!

Салтанат вошла в соседнюю калитку, поприветствовала хозяйку:

— Здравствуйте, Фатима-апа!

— Проходи, проходи, Салтанат. Добрые вести принесла, голубушка моя?

— Письмо вам от Батыра-ака.

Дрожащими руками Фатима разрывает конверт и, отойдя в сторону, читает, то хмурясь, то удовлетворенно улыбаясь...



- Не скучаешь, Витя? — спрашивает Салтанат.
- Нет. Отец качели устроил. Хотите покататься?
- И рада бы, да дел уйма.

Фатима-апа вернулась, и нельзя было не заметить, что глаза ее лучатся счастьем.

— Ну, я вижу, у Батыра все в порядке.

— Да, доченька. Только письмо это шло две недели. А что с ним сейчас?

— Сейчас он, мама, наверное, в атаку идет, — «успокоил» Витя Фатиму-апа.

— Молчи, глупый! — прикрикнула на него Салтанат.

— Маленький еще. Вырастет — поймет... Ой, а вы куда это уже собрались? Посидели бы, чай попили.

— Не могу, Фатима-апа. Видите, сколько еще у меня писем! А их сейчас ждут в каждом доме.

— Твоя правда, доченька. Не буду тебя удерживать.

— До свидания.

— Будь счастлива, голубка.

Фатима-апа проводила Салтанат до калитки, взяла какой-то узелок и подозвала Витю:

— Мне, сынок, сходить еще по одному делу нужно. Ты веди себя здесь хорошо. А я скоро вернусь.

— Хорошо, мама. Только возвращайтесь поскорей.

Мальчику было лет семь. Казалось, он едва переставляет ноги, и если бы не рука Фатимы, которая крепко сжимала его маленькую худую ручонку, он бы не сделал и шагу. Просто повалился бы на тротуар и уснул.

— Идем же, Остап, уже близко, — подбадривала мальчика Фатима.

Он плелся за ней, как во сне, ничего не отвечал и, может быть, ничего не понимал.

— Вот мы и пришли, — сказала Фатима-апа, ведя его за собой в калитку. — Витя, где ты?

А Витя сидел на дереве и старательно остругивал палку.

— Спускайся сейчас же! Упадешь... Вот я тебе товарища привела. Остап. Поиграйся с ним, пока я обед готовлю.

Витя спустился на землю без особой радости. С видом равнодушным и даже разочарованным он смотрел на Остапа, присевшего на край супы, и, не обмолвившись с ним ни словом, начал усердно дуть в подаренную ему гармошку.

Остап уныло рассматривал двор, не проявляя интереса даже к Витиной гармошке.

Смена в кузнице заканчивалась поздно. Уже давно закрылся хлебный магазин напротив и разошлась очередь. Уже поределели на улице пешеходы и одинокими казались полупустые трамваи...

Махкам-ака сложил инструмент, снял спецовку и, устало пожав руку своему помощнику, вышел из мастерской. Он прошел мимо одинокой фигуры, прижавшейся к стенке в тени подъезда, не заметив ее. А фигура отделилась от стены и пошла за Махкамом-ака. Она следовала за ним, явно желая обратить на себя внимание. Но утомленный трудным днем, Махкам-ака ничего не замечал, не оборачивался. Тогда шустрая фигура обогнала кузнеца и остановилась на его пути под фонарем. Теперь не обратить на нее внимания было уже невозможно.

Махкам-ака приблизился к фонарю, бросил взгляд на одинокую фигуру и остановился.

— Сарсенбай? Ты?

Сарсенбай смотрел на него тоскливо и жалобно.

— Что ты здесь делаешь?

Мальчик насупился, молчал.

— Пойдем ко мне, — предложил Махкам-ака. — Переночуешь, а там видно будет.

Сарсенбай сверкнул маленькими глазками, доверчиво прижался к Махкаму-ака и неожиданно разрыдался.

— Перестань, пожалуйста. Сейчас не время. Пойдем.

Сарсенбай утер слезы и зашагал рядом с Махкамом-ака по полутемной улице, отдыхающей после напряженного и тревожного дня.

Махкам-ака и Сарсенбай подошли к калитке, освещенной только серебристым лунным светом. Махкам-ака постучал, и вскоре ему ответил сонный голос Фатимы:

— Вы, отец?

— Нас тут двое, мать. Примешь еще одного сына?

Фатима-апа отворила калитку, растерянно развела руками:

— Еще одного?

Они прошли на айван. Махкам-ака снял пиджак и наклонился над Витиной постелью. Но каково же было его удивление, когда он увидел на подушке рядом с Витиной еще одну мальчишескую голову. Махкам-ака повернулся к жене, и в глазах его был немой вопрос.

— Я сама не знаю, как все случилось, — виновато опустив глаза, сказала Фатима-апа. — Эшелон с детьми прибыл. Я из магазина шла — мимо проехал... Лица у всех исхудалые, несчастные... Думаю, отнесу им что-нибудь поесть. Взяла что было,

пришла на станцию. А там такое — сердце разрывается. Не выдержала, взяла одного...

— Гм-м... — задумался Махкам-ака.

— Украинец, Остапом зовут... Все печальный такой. Видно, много горя хлебнул... И есть даже не стал.

Махкам-ака постоял над постелью, затем подошел к жене и сказал тихо, чтобы не слышал сидевший неподалеку Сарсенбай:

— Ладно, жена. Тогда этого я завтра в детдом отведу.

— Ой, как же это можно: сегодня привести, завтра отвести?!

— Трудно будет, думаю.

— Ничего. С двумя трудно, с тремя не будет трудней. Пусть останется, — и, обернувшись к задремавшему уже мальчугану, спросила: — Как тебя зовут?

— Сарсенбай, — ответил тот, с трудом открывая глаза.

— Иди, сынок, поешь — и ложись. Завтра тебя отмою.

Витя и Остап еще спали, хотя солнце — ласковое осеннее солнце — уже позолотило и полуоголившиеся деревья, и крыши соседних домов, пронизало воздух упругими лучами.

Пристроившись на супе, Махкам-ака старательно брил голову Сарсенбаю. Мальчик ерзал, нетерпеливо поглядывая на своего парикмахера, и, видимо, огромного напряжения воли стоило ему, чтобы не вырваться и не убежать.

Фатима-апа внесла на айван большой таз с горячей водой. От шума, который он создавал, проснулись сразу и Витя и Остап. Какое-то время они удивленно наблюдали за необычным занятием Махкама-ака, рассматривали такую смешную сейчас фигуру Сарсенбая.

— Этот дядя — мой папа, понял? — сказал Витя хвастливо, так, чтобы Остап навсегда запомнил: Махкам-ака Витин папа и ничьим больше папой быть не может.

Остап ничего не ответил. Он продолжал, не отрывая глаз, смотреть на Махкама-ака. А тот, закончив брить Сарсенбая, поднялся на айван и, заметив, что дети уже проснулись, подошел к их постели:

— Доброе утро, ребята! Ну, как спалось? Что снилось?.. Вставайте, завтракать будем... Мать, теперь и искупать его можешь.

Фатима-апа принесла мыло и полотенце, сказала Сарсенбаю:

— Раздевайся!

Сарсенбай снял рубашку, ботинки и застыл в нерешительности.

— Ну, раздевайся же!

Но мальчик крепко схватился за штаны, словно их хотели снять с него насильно.

— Вода остывает — снимай же поскорей!

— Не сниму! — буркнул Сарсенбай.

Фатима-апа переглянулась с мужем, улыбнулась.

— Ладно, мать, я сам его искупаю, — сказал Махкам-ака, — ты выйди пока отсюда.

Фатима-апа ушла в комнату, а Сарсенбай, предварительно оглядевшись по сторонам, снял штаны.

— Лезь!

Мальчик залез в таз, и вода сразу же потемнела.

Долго отмывал Махкам-ака многослойную грязь с тела Сарсенбая. Тот морщился, вздрагивал, но переносил и это испытание стически. А кто получил истинное удовольствие, так это Витя. Он вертелся вокруг таза и хохотал, когда Сарсенбаю в глаза попадало мыло, плескал в него водой из кружки, словом, забавлялся как мог. Махкам-ака пытался было его унять, но потом и сам стал улыбаться, наблюдая за баловством сынишки.

— А ну-ка, Витя, бери мочалку и мыло да три ему спину как следует! — весело предложил Махкам-ака.

Витя вдруг остановился, произнес брезгливо:

— Он грязный.

— Вот ты его и отмой.

— Да ну его! Пусть сам моется.

— Думаешь, когда ты пришел, был чище?

Витя насупился.

— Э, нехороший ты, оказывается, человек! Разве так к брату относиться можно? Вы должны друзьями быть, помогать друг другу... Ну, бери мочалку!

Витя не пошевелился даже. Его неожиданное упорство озадачило Махкама-ака. Он бросил на Витю гневный взгляд, но сдержался и спокойно позвал Остапа:

— Иди, сынок, помоги мне отмыть этого бродягу.

Остап послушно взял мочалку и начал неумело тереть спину Сарсенбая.

— Вот молодчина! — похвалил его Махкам-ака. — Ну-ка, сильнее его, сильнее!.. Так... Молодец, сынок!

И тут Махкам-ака заметил, что на глазах Остапа появились слезы. Они потекли по щекам, закапали на пол. Но еще прежде чем Махкам-ака успел спросить Остапа, что с ним случилось, раздался громкий плач с другой стороны. Рыдал Витя. Махкам-ака поднялся, сделал к нему несколько шагов, и в это время заплакал в полный голос Остап. Получался такой сложный дуэт: Витя заливался на высоких нотах, звонко и переливчато, Остап вторил в низком регистре, мягким грудным голосом.

Махкам-ака растерянно развел руками, переводя взгляд с

одного на другого, затем повернулся к Сарсенбаю, все еще сидящему в тазу, и крикнул:

— А ты чего ж? Плачь! Ну!

Сарсенбай понял это как команду. К тому же, как известно, плач, подобно смеху, вещь заразительная, и Сарсенбай скривился, прислушался к ритму дуэта и пустил первую руладу.

Из комнаты выбежала перепуганная Фатима-апа.

— Что такое? Что случилось? Отчего они плачут?

Махкам-ака пожал плечами: не знаю.

— Обидел?

И тут Махкам-ака не выдержал.

— Молчать! — крикнул он грозно. — Ну!

И плач мгновенно смолк.

— Ты, — указал он на Витю, — отчего ты плачешь?

— А почему вы говорите ему — сынок? — указал он на Остапа. — Ваш сын я.

— Ты мой сын, и он мне сын, и Сарсенбай тоже. Вы все братья. Все вы наши дети.

Видно было, что ответом Махкама-ака Витя остался недоволен, но заплакать снова побоялся.

— Ну, а ты чего голосишь, как курица, снесшая яйцо? — спросила Фатима-апа у Сарсенбая.

— А чего они?

— Значит, за компанию? — улыбнулся Махкам-ака. — Ничего не скажешь — настоящий товарищ, во всем поддержит.

Остап стоял в стороне и продолжал тихо всхлипывать.

— Теперь твоя очередь. Говори, чего плакал? — положил ему руку на плечо Махкам-ака.

— Сестренку потерял.

— Когда?

— Вчера, на вокзале... Мама, когда умирала, сказала мне: «Кроме Леси, нет у тебя никого. Будьте всегда вместе...» А я потерял.

— Ах, бедный мой! — сочувственно всплеснула руками Фатима-апа. — Что ж ты сразу мне не сказал!

— Ну ладно, будет плакать! — сказал решительно Махкам-ака. — Найдем твою сестренку... Мать, собери его! Пойдем со мной.

И снова знакомый уже двор детдома. Махкам-ака и Остап стоят перед столом заведующей.

— Леся Гриценко? — переспрашивает она, просматривая списки. — Леся Гриценко... Нет, такой у нас не было.

— Простите за беспокойство.

Другой детдом. Махкам-ака и Остап в сопровождении пожилого человека в длинном полосатом халате выходят из ворот.

— Попробуйте в двенадцатый зайти. Может быть, там...

— Благодарю, — говорит Махкам-ака и, взяв Остапа за руку, уходит.

Остап следовал за Махкамом-ака, не отставая от него ни на шаг. Вместе пересекли они улицу, свернули за угол и вошли в чайхану.

В глубине чайханы, на почетном месте, восседали два старика. Поближе к двери расположилась небольшая компания. Вошедших никто не заметил.

Белобородый старик, уставившись на репродуктор, застыл с пиалой в руке. Внимательно прислушивается к голосу радиодиктора пожилой мужчина. Чайханщик, стараясь не шуметь, поставил вытертую пиалу и подошел ближе к репродуктору.

— ...После ожесточенных боев наши войска оставили город...

Чайханщик раздосадованно повернул ручку. Репродуктор щелкнул и замолк.

Несколько минут в чайхане стояла напряженная тишина. Наконец белобородый нарушил молчание:

— Оставили город... Сколько вот таких городов уже оставили!.. А враг все идет и идет... Много земли нашей уже захватил.

— Города он может захватить, а народ наш покорить — никогда, — ответил второй старик. — Гнев народа — великая сила. Нахлынет — как море: все сотрет, все уничтожит!

Махкам-ака и Остап сидели на деревянной супе недалеко от входа. Перед ними на подносе лежала разломанная лепешка. Изголодавшийся Остап взял кусочек, откусил и, разжевывая его, продолжал заинтересованно рассматривать посетителей.

— Остап! — негромко окликнул его Махкам-ака.

Мальчик обернулся. Тогда Махкам-ака взял у него лепешку, перевернул верхней стороной вверх и отдал обратно.

— Ешь... О, Гани! — позвал Махкам-ака чайханщика.

Гани появился с двумя чайниками.

— Ассалам алейкум!

— Вaleyкум ассалам! — поприветствовали они друг друга.

— Как ваши сыновья?

— Спасибо, живы-здоровы.

— А знаете, Парпи-ака, что на нижней улице, тоже ребенка усыновил, — рассказывал чайханщик Махкаму-ака. — И сапожник... у хауза живет, он сразу троих: мальчиков и девочку. Только вчера.

— Девочку?

- Сам видал. Такая светлая, голубоглазая.
- Вчера, говорите?
- Да, вечером привел, — отвечал словоохотливый чайханщик.
- Благодарю вас.
- Чайханщик отошел, а Махкам-ака спросил у Остапа:
- Твоя Леся какая — светлая?
- Ага.
- Голубоглазая?
- А еще у нее такие косички с бантиками.
- Тогда пойдем... Наелся?
- Очень хорошо наелся. Спасибо.

Дом у хауза, окруженного стройными тополями. У калитки разговаривает с незнакомой женщиной Махкам-ака. О чем они беседуют, не слышно. Но вот женщина приоткрыла калитку и крикнула во двор:

— Доченька! Иди сюда.

На улицу выбежала шустрая голубоглазая девочка лет пяти.

Махкам-ака посмотрел на Остапа, но тот оставался равнодушным: нет, это была не Леся. Женщина еще что-то сказала Махкаму-ака, затем он попрощался с ней и вместе с Остапом устало зашагал по улице.

Уже было совсем темно, когда уставшие и запыленные Махкам-ака и Остап подошли к колхозному клубу на окраине города. Махкам-ака постучался в массивную резную дверь. Открыл ему заспанный сторож.

— Пожалуйте.

— Простите, что беспокою в такой поздний час. Ищем сестренку вот этого мальчугана. Вчера эшелоном прибыла. Говорят, часть детей в вашем клубе разместили.

Сторож внимательно посмотрел на Махкама-ака, потом на Остапа, сказал нерешительно:

— И рад бы вам помочь, да как? Списки у директора, а он домой ушел, дети спят. Может?.. Пойдите... А если... Сестренку свою узнаешь? — спросил он у Остапа, и тот утвердительно кивнул головой. — Тогда вот что, — продолжал обрадованный сторож, — пойдешь в зал, сам посмотришь. Только — ша, чтоб никого не разбудил!

— Вот спасибо вам, дорогой. Очень нас выручите, — приложил руку к сердцу Махкам-ака.

— Да чего там! Пошли!

Они остановились в открытых дверях большого клубного зала. На кроватях, плотно сдвинутых друг к другу, спят дети.

— Иди, да потише, — шепнул сторож. И Остап пошел.

Он шел в полумраке зала по узкому проходу между кроватями, заглядывая в лица детей... Леси не было.

— Нет, — огорченно сказал он, вернувшись к дверям, и низко опустил голову.

— Нет, — повторил за ним упавшим голосом Махкам-ака.

— А ты хорошо смотрел? — сочувственно спросил сторож.

— Хорошо.

— Да, дела... — раздосадованно дернул себя за ус клубный сторож. — А в третьем детдоме были?

— Были, — безнадежно махнул рукой Махкам-ака.

— А в шестом?

— И в шестом были.

— На Сассык-хаузе еще есть. Новый открыли.

— В двенадцати детдомах побывали сегодня.

Сторож понимающе глянул на Остапа, на Махкама-ака и, не зная, чем им помочь или хотя бы утешить, тяжело вздохнул.

— Не убивайтесь, брат, найдется девочка... обязательно найдется...

Трамвай медленно тащился по ночным, тускло освещенным улицам. На поворотах он душераздирающе визжал и, видимо, сам испуганный этим визгом, начинал оглушительно звонить — наверное, для того, чтобы звоном подбодрить самого себя и успокоиться до следующего поворота.

Остап сидел у открытого окна, понуро опустив голову. Рядом с ним задремал Махкам-ака.

Наплывали и уходили во мрак освещенные окна, подъезды, витрины магазинов. Иногда Остап различал фигуры прохожих. И вдруг его словно подбросило.

— Леся! — закричал он и сильно дернул Махкама-ака за рукав.

— Что?.. Где?

— Да вон, вон пошла... с какой-то тетей... Леся! — крикнул он в снко.

— Пстой! — Махкам-ака схватил Остапа и быстро подошел к вагонновожатому. — Будьте добры, остановите, пожалуйста.

— Не могу — запрещается, — равнодушно ответил вагонновожатый, даже не взглянув на Махкама-ака.

— Леся... Понимаете, там Леся! — волнуясь, объяснил Махкам-ака. — Весь день искали... Сестра вот Остапа... Я прошу вас...

Вагонновожатый обернулся, и, хотя из сбивчивой речи Махка-

ма-ака трудно было что-либо понять, он все же догадался, что трамвай остановить нужно.

Махкам-ака спрыгнул, подхватил и поставил на землю Остапа, и они вместе побежали в обратную сторону.

Темно. Большой грузный мужчина и маленький исхудалый мальчуган бегут по улице.

— Ле-еся!.. Ле-еся! — кричит срывающимся голосом Остап.

В тишине улицы его голос отдается эхом.

— Ле-еся!

...Девочка, шагавшая рядом с пожилой женщиной, остановилась, прислушалась.

— Остап! — воскликнула она обрадованно.

Женщина подождала, прислушалась, но крика больше не было.

— Тебе просто показалось, детка. Идем.

— Нет, это Остап!

— Ле-еся! — донесся издали голос Остапа.

Теперь его слышала и пожилая женщина.

— Пойдем быстрее! — воскликнула женщина и вместе с Лесей быстро пошла в сторону, откуда раздался этот голос.

Махкам-ака и Остап выбежали на широкую площадь в тот момент, когда с противоположной ее стороны показались пожилая женщина и Леся. Брат и сестра кинулись навстречу друг другу. В центре площади, окруженной газонами цветов, они встретились.

Махкам-ака и женщина приближались к ним с разных сторон.

— Абдурахманов, — представился Махкам-ака, когда они оказались рядом.

— Киселева.

Они наблюдали за детьми, и лица их светились счастьем.

— Боже, как это... как это замечательно, что они нашли друг друга, — сказала Киселева и незаметно вытерла глаза. А через минуту она обеспокоенно глянула на Махкама-ака и с тревогой в голосе спросила: — Что же мы теперь будем с ними делать?

— Разлучать их нельзя.

— Конечно. Это было бы настоящим преступлением.

— Значит, либо мальчика — вам, либо девочку — мне, — рассуждал Махкам-ака.

— Я возьму его себе... Правда, двоих мне будет, наверное, трудно... Но ничего, справлюсь.

— А может быть, лучше я их возьму? Все же...

— Нет-нет, я к ней уже очень привыкла, — сказала женщина и, словно желая удержать Лесю, крепко взяла ее за руку.

Остап, заметивший это движение, решил, что его снова хотят

разлучить с сестренкой, и, ухватив Лесю за другую руку, потянул к себе.

— Не отдам!

Махкам-ака и Киселева переглянулись.

Остап вбежал во двор с ликующим возгласом:

— Нашли!.. Нашли Лесю!

Фатима-апа подошла к Лесе, наклонилась, обняла ее.

— Здравствуйте, — застенчиво промолвила девочка.

— Здравствуй, моя дорогая, моя хорошая, — целует ее Фатима-апа.

Махкам-ака устало опустился на супу. А за его спиной выросли две мальчишеские головы. Это проснулись Витя и Сарсенбай.

— Вот она, моя сестренка, Леся! — спешит поделиться с ними своей радостью Остап и, повернувшись к сестренке, объясняет: — Это вот Витя, а это Сарсенбай.

Леся дружелюбно улыбнулась и сделала реверанс, которому ее, вероятно, обучили в детском саду.

— Очень приятно.

Сарсенбай прыгнул с постели, подошел к Лесе, осмотрел со всех сторон и, подражая ей, сказал:

— Очень приятно.

А Витя, сидя на постели с недовольным, хмурым лицом, буркнул:

— А чего приятного? Подумаешь, девчонка! Фи-и!.. Дармод только в доме, и все.

Леся испуганно прижалась к брату.

— Хозяин, что ли, ты здесь?! — рассердился Остап.

— Хозяин! Я первый пришел сюда!

Фатима-апа у супы разговаривала с мужем:

— Завтра нужно в школу их повести. Этих двух можно в русскую, а как быть с Сарсенбаем?

— Что же делать — пусть лучше учатся в одной школе. Не разлучать же их.

Утром Фатима-апа собирала детей в школу. Она спустилась с айвана с двумя старыми портфелями Батыра:

— Вот тебе, Витя, а этот Остапу.

Сарсенбай надулся, обиженный, отошел в сторону.

— А ты, Сарсенбай, дай свои книги, я заверну их в газету.

Фатима-апа старательно завернула книги Сарсенбая, еще раз осмотрела ребят — чистых, принаряженных в старые Батыровы

одежды. Затем взяла сапожный крем и до блеска начистила их не очень новые, залатанные ботинки.

— Ничего, сынок,— говорит она Вите,— завтра отец новые принесет.

Фатима-апа вошла в дом, а в это время Леся, неотступно следовавшая за Остапом, азяла его портфель, внимательно осмотрела, затем то же сделала с Витиным портфелем и совсем неожиданно показала Сарсенбаю язык:

— А у тебя нет, ага!

Желая отомстить обидчице, Сарсенбай погнался было за ней, но в это время во дворе снова появилась Фатима-апа. Она вынесла три куска хлеба и, завернув их в газету, отдала ребятам. Остап и Витя положили хлеб в портфели, а Сарсенбай повертел его в руках и тут же тайком начал есть.

— Мама, а Сарсенбай ест хлеб,— разоблачила его Леся.

— Сынок, ты ведь только позавтракал. Я дала, чтобы ты в школе поел.

Сарсенбай завернул хлеб и направился к калитке, бросив на Лесю угрожающий взгляд.

— Ну, идемте,— сказала Фатима-апа, взяв за руку Лесю, вышла на улицу. Вслед за ней вышли Витя и Остап. Они постояли на улице, дожидаясь Сарсенбая, но того все не было. Наконец, Фатима-апа вернулась во двор. Сарсенбай стоял, повернувшись лицом к дувалу, и горько плакал.

— Ой, что случилось? — воскликнула Фатима-апа. — Что ты плачешь?

— Не пойду я в школу!

— Почему?

— Без портфеля в школу не ходят, я знаю.

— Сказала ведь, будет у тебя портфель, новый. Отец принесет.

— Да, новый... новый... — плачет Сарсенбай. — Вы только их любите.

Фатима-апа задумалась, позвала:

— Витя!.. Отдай, сынок, свой портфель Сарсенбаю. Тебе отец...

— Да ну его! Не отдам!

Фатима посмотрела на него строго, осуждающе, а Витя еще больше надулся и отошел.

— Остап, отдай ты, — ласково говорит Фатима-апа. — Ты ведь хороший мальчик.

Остап молчит, прижимая к себе портфель обеими руками.

Фатима-апа посмотрела на одного, на другого и, ничего не сказав, отобрала портфель сначала у Вити, затем у Остапа. Вынула книги, тетради, завтраки, отбросила портфели в сторону, сказала тоном, не терпящим возражений:

— Держите!

Витя и Остап покорно приняли из ее рук содержимое портфелей. Лицо Сарсенбая, наблюдавшего за этой сценой, прояснилось и посветлело настолько же, насколько помрачнели физиономии Остапа и Вити.

— Пошли! — приказала Фатима-апа.

Соседки, разговаривавшие на улице, оглянулись.

— Здравствуйте, Фатима-буви! — приветствовали ее.

— Асалам алейкум!

— В школу ведете?

— Ох, какая хорошенькая девочка! — восклицает одна из соседок, беря Лесю на руки. — Ты тоже в школу идешь?

— Закапризничала, не хочет от братьев отставать, — ответила за Лесю Фатима-апа.

— Дай вам бог здоровья, Фатима-буви! Большое у вас сердце, — говорит старуха в теплом пуховом платке. — Вот вырастут они, сторицей вознаградят вас и за заботы, и за вашу любовь.

— Порадуют, говорите вы? — бойко вмешалась в разговор Бувиниса-хола. — Как бы не так! Вскормишь отбившегося ягненка — живот полней будет, сироту вырастишь — сердце опустошит.

— Плохими словами уста свои оскверняете, соседка, — обрвала Бувинису-хола старуха в платке. — Стыдно так говорить. И доброму слову, и недоброму ангелы говорят — аминь...

В школьном коридоре сутолока и шум. Скоро прозвенит звонок, и тогда коридор опустеет. А пока мчатся по нему, сломя голову, раскрасневшиеся мальчуганы. Что-то кричат, перебивая друг друга, озорные девчонки с аккуратно заплетенными косичками. Бушует море детских голосов. И, словно разрезая волны этого штормового моря, идет по коридору Фатима-апа, а за ней тянутся гуськом Леся, Остап, Витя, Сарсенбай. Нелегко пройти это море, не напоровшись на какой-нибудь риф: того и гляди ударит в лоб неожиданно, с треском распахивающаяся дверь. Фатима-апа осторожно лавирует, время от времени оборачиваясь и поглядывая на своих питомцев. У Вити вид испуганный, ошеломленный. Остап чувствует себя свободней, он даже улыбается, наблюдая за ребяческими забавами. А Сарсенбай, пока Фатима-апа на него не смотрит, успевает дернуть за косицу какую-то зазевавшуюся девчонку, подставить ногу бегущему пареньку.

Наконец, вся эта процессия благополучно добирается до дверей с табличкой «Директор». Фатима-апа стучится и, не получив ответа, заходит в кабинет, оставив детей в коридоре.

— Входите, входите, — приветливо встречает ее директор —

женщина в роговых очках, с толстой косой, обмотанной вокруг головы.

— Детей вот привела...

В это время, тихо открыв дверь, в комнату вошла Леся. Фатима-апа остановилась на полуслове, попыталась выставить девочку обратно в коридор, но директор, улыбнувшись, сказала:

— Оставьте, ничего. Эту вы привели в школу?

— Нет, старших привела.

— Что же вы так поздно? У нас уже все занято — нет мест. Очень сожалею, но придется вам идти в другую школу.

— Да, но ведь раньше...

— Ничего не могу для вас сделать.

Директор проводила Фатиму-апа до дверей и тут увидела Витю, Остапа и Сарсенбая.

— А вы почему здесь стоите?.. Почему не идете в класс?

— Так это же мой,— пояснила Фатима-апа.

— Они все — ваши? — удивилась директор.

— Да.

Ничего не понимая, директор пожимает плечами, приглашает детей в кабинет и, усадив, разглядывает сначала их, а потом Фатиму-апа.

— Как их фамилия?

— Они все Абдурахмановы.

— Абдурахмановы?.. Кузнеца Абдурахманова?

— Да.

— Ну так что же вы! Так бы сразу и сказали,— и повернувшись к Остапу, директор спрашивает: — Как тебя зовут?

— Остап.

— Это мой брат,— хвастливо вставляет Леся.

— Очень хорошо. А тебя?

— Витя.

— Тебя?

— Сарсенбай.

— Так... — на минуту задумалась директор. Затем сказала Фатиме-апа: — Найдём выход.

— Спасибо... Хотела спросить у вас. Эти двое,— Фатима-апа указала на Остапа и Витю,— будут учиться в русской школе. А Сарсенбаю не трудно будет? Думаю, не отдать ли его в узбекскую?

— Я хочу вместе с ними, — тут же закапризничал Сарсенбай.

— Вот видите... Пусть лучше будут вместе.

Зазвенел звонок. Директор поднялась, сказала:

— Ну, пойдёмте, провожу вас в класс.

Они вместе прошли по опустевшему коридору. Фатима-апа с Лесей остались у дверей, а мальчики последовали за директором в класс.

— Здравствуйте, дети! — сказала директор, и дети, поднявшись, ответили дружным хором:

— Здравствуйте!

— Привела вам трех братьев: Витю, Остапа и Сарсенбая. Будете дружить с ними?

— Да... будем... — ответил класс.

— Ну, садитесь, братья, — сказала директор и подошла к молодой учительнице. — Лидия Васильевна, запишите их в журнал, пожалуйста. Абдурахмановы.

Сказала и вышла. А ребятам стало почему-то страшно. Они сгрудились и стоят.

— Садитесь, — обратилась к ним учительница.

Они недоверчиво, исподлобья посмотрели на нее, но с места не сдвинулись.

— Садитесь! — повторила учительница.

И тогда Сарсенбай — самый смелый, самый решительный из них — прошел между партами и уселся на последней. Витя и Остап робко последовали за ним.

— Итак, ребята, начнем наш первый урок...

Фатима-апа сидела на айване, занятая починкой детских брюк. Рядом с ней устроилась Леся. Подражая взрослым, она бранила куклу за то, что та была непослушной и никак не хотела укладываться спать. Потом Леся качала ее на руках, шлепала и снова укачивала. Наконец, эта игра ей надоела и она попросила Фатиму-апа:

— Мама, сшейте моей кукле настоящее платье.

Фатима-апа по-матерински ласково улыбнулась девочке и, достав цветной лоскут, начала шить кукле «настоящее» платье. А Леся пока продолжает воспитывать своего ребенка.

— Вот видишь, моя мама тебе платье шьет. Что надо сказать?.. Спасибо... Мама, а когда они уже придут из школы?

— Скоро, доченька... сейчас придут.

— Мама! А почему у Вити и Остапа четверки да пятерки, а у Сарсенбая только тройки?

— Потому что он занимается плохо.

— А вот и не потому. Он говорит: «Я не хочу учиться — скучно, я, говорит, хочу летчиком быть!..» Я вчера вечером слышала, как он Остапу и Витке рассказывал: «Удери я, — говорит, — на фронт, буду фрицев бить!»

— Сказал, удери?

— Так и сказал.

Издали доносится стук идущего поезда. Леся вскочила на супу, смотрит через дувал, но ничего разглядеть не может.

— Мама, покажите мне поезд.

Фатима-апа подняла Леся, и теперь она видит: мчится поезд, мелькают теплушки с солдатами в открытых дверях, проносятся груженные танками платформы.

Распахнув калитку, во двор вбегает Остап. За ним появляется Витя.

Леся спрыгнула с супы, повисла на шее Остапа:

— Какую отметку получил, ака? Пять, да?

— Сегодня отметки не ставили.

— А ты, Витька?

Витя снисходительно глянул на девчонку и с солидностью, несоответствующей его возрасту, ответил:

— Дело не в отметках, а в знаниях!

Фатима-апа скрыла улыбку лоскутом, который держала в руках.

— А где вы Сарсенбая оставили? — спросила она спокойно.

— Не знаю,— пожал плечами Остап.— На первом уроке поймал двойку и смылся.

— А что же вы его отпустили?

— Мы даже не заметили, когда,— оправдался Витя.

Фатима-апа осуждающе покачала головой:

— Плохие вы братья, плохие товарищи... Возьмите там обед, на плите, поешьте.

Ребята достали кастрюлю, разлили по тарелкам шурпу, молча едят.

Часто волнение закрадывается в душу маленькой ночной бабочкой. Она бьется, трепыхается где-то внутри и незаметно вырастает в зловещего черного ворона. Так обычно случалось с Фатимой-апа, когда дело касалось Батыра. И сейчас она снова испытала это хорошо знакомое состояние.

Сначала Фатима-апа почувствовала, что продолжать починку брюк она больше не может: иголка, вместо того чтобы пронизывать материал, уже несколько раз колола палец, нитка никак не хотела попасть в ушко иголки. Словом, работа валилась из рук. Фатима-апа нервно отбросила брюки и, не находя себе места, беспокойно заходила по айвану, то громыхая тарелками, то перекидывая глаженую мальчишескую одежду. Глаза ее лихорадочно горели, выдавая беспокойство, тревогу, страх.

— Куда он мог убежать? — спрашивала она, ни к кому не обращаясь.

Дети сидели за хантахтой и, видимо, догадываясь, что происходит в эти минуты в душе Фатимы-апа, боялись проронить слово. Даже резвая Леся замолкла, присмирела.

— Может, заблудился?

Молчание и, как ей казалось, безразличие детей к исчезновению Сарсенбая вызывало в ней яростный гнев. Временами она

поглядывала на них, поглядывала так, будто это они были во всем виноваты.

— Что же вы сидите! — набросилась она на ребят. — Куда он мог уйти?

Никто ей не ответил, и через несколько минут она заговорила снова:

— Столько машин... Боже мой, неужели он пошел на железную дорогу? Нужно позвонить в скорую помощь!.. Да!.. Витя, иди к отцу, скажи, пропал Сарсенбай. Пусть позвонит в скорую помощь, в милицию и еще... он сам знает, куда еще звонить нужно. Иди скорее.

— И что вы волнуетесь, мама? — «успокоила» Фатиму-апа Леся. — Он же сам сказал Остапу, что бросит школу и убежит на фронт.

— Он говорил тебе это? — строго спросила Фатима-апа Остапа.

— Говорил.

— А что же ты мне ничего не сказал?

— Он с меня честное пионерское взял.

— Эх, вы!.. Беги, Витя... И я пойду...

Фатима-апа схватила платок и быстро вышла на улицу.

Часы над дверями школы показывали четыре. Из дверей вышла Фатима-апа и растерянно огляделась по сторонам. Затем спустилась со ступеней и быстро пошла по направлению к большой оживленной улице. У трамвайной остановки она увидела милиционера, подошла к нему и что-то спросила. Милиционер развел руками, отрицательно покачал головой.

Фатима-апа идет по многолюдной улице, все время осматриваясь, вглядываясь в каждую детскую фигурку, появляющуюся на ее пути. Она зашла в большой магазин и вышла из других дверей.

...На противоположной стороне улицы толпился народ. Фатима-апа заметила толпу, и сердце ее екнуло: там несчастье, там Сарсенбай!.. Не помня себя, Фатима-апа побежала через улицу, бросилась к толпе, протиснулась в центр.

На столбе, около которого собрался народ, висел репродуктор. Радио передавало очередное сообщение Советского информбюро: «...после ожесточенных боев наши войска оставили одиннадцать населенных пунктов. Н-ский партизанский отряд сжег вражеский эшелон с боеприпасами...».

Фатима-апа вздохнула и теперь уже осторожно выбралась из толпы.

...И снова идет по городу Фатима-апа. Вот проходит она мимо раскрытых заводских ворот, оттуда многоликий, разноязычный вливается в улицу поток рабочего народа.

...Вот переходит она широкую шумную улицу и, поглощенная одной мыслью, одним нестерпимо-болезненным чувством, не замечает стремительно надвигающегося на нее грузовика. Он уже совсем близко. Кажется, не миновать беды... Резкий скрежет тормозов, визг трущейся об асфальт резины... Машина останавливается в двух шагах от растерявшейся Фатимы-апа. Из кабины показалось бледное лицо шофера. Из-за уличного шума не слышно, что он кричит, но резкие жесты его очень выразительны.

Обессиленная, изможденная возвращается Фатима-апа домой. Замолкли спорившие о чем-то Витя и Остап.

Маленькая Леся бросилась навстречу матери, прижалась к ней, спросила с детской наивностью:

— А где же Сарсенбай?

— Не нашла я Сарсенбая, — тяжело вздохнула Фатима-апа и закрыла лицо руками.

...Был уже поздний час, когда Фатима-апа, хлопотававшая у очага, услышала звук отворяющейся калитки. Она обернулась и увидела милиционера, который крепко держал за руку упирающегося Сарсенбая.

— Ваш? — спросил милиционер.

— Наш, наш! — обрадованно воскликнула Фатима-апа.

— На вокзале нашел. Решил на фронт отправиться. Я ему говорю, на фронте детского сада нет. Обижается.

Сарсенбай стоит, не решаясь поднять голову, не смея посмотреть на Фатиму-апа и ребят, которые его окружили.

А в глазах Фатимы-апа отражается сложная борьба двух противоречивых чувств: нежность и гнев.

— Зачем же задержали вы его? Пусть бы ехал. Ведь богатырь! Дай ему винтовку — с какого конца стрелять не знает... Убежал... А что отец-мать волнуются, переживают — это ему наплевать! Отец вот до сих пор по больницам ходит — ищет этого героя.

— А вот и не наплевать. Мне даже жалко вас было... и себя тоже, — вымолвил наконец Сарсенбай.

— Чего же ты убежать решил?

— Не хочу я ходить в школу — там скучно и ставят плохие отметки.

— Ну ладно, на этот раз мы его простим, — сказал милиционер.

— А если еще раз убежит, в тюрьму его посадите, — угрожающе говорит Фатима-апа.

Милиционер козырнул и в сопровождении хозяйки направился к калитке.

Сарсенбай поднял голову, виновато улыбнулся, подмигнул Вите и Остапу. А Остап поглядел на него презрительно, только и сказал:

— Эх, ты!

Утро над городом вставало ясное, по-осеннему прозрачное. На горизонте четко вырисовывались снежные вершины гор. Было безветренно и тихо, как бывает тихо в тот короткий момент, когда рождается над землей новый день...

Очарованная величием превращений, которые совершались в природе, Фатима-апа стояла посреди двора, на минуту позабыв о лучине, которую несла для растопки самовара. Из этого состояния легкой, созерцательной задумчивости вывел ее скрип отворившейся калитки, Фатима-апа испуганно вздрогнула и повернулась: во двор вошел усталый, с покрасневшими от бессонной ночи глазами Махкам-ака.

— Доброе утро, отец! — ласково приветствовала его Фатима-апа. — Утомились? Ох, уж эта ночная смена...

Махкам-ака ответил ей доброй улыбкой и с таинственным видом поманил к себе:

— Смотри, мать, что я принес!

Фатима-апа недоверчиво повертела в руках принесенный мужем сверток, развернула его и, как ребенок, обрадовалась неожиданным подаркам. Она рассматривала и ощупывала вынутые из свертка ботинки, две бумажные рубашки и совершенно новую маленькую ферганскую тюбетейку.

А пока она занималась свертком, Махкам-ака будил детей:

— Ну, вставайте, вставайте же! В школу опоздаете, засони...

Витя поднял голову и снова спрятался под одеялом. Сарсенбай повернулся на другой бок и продолжал спать так, будто он, а не Махкам-ака отработал сейчас ночную смену. Остап притворился спящим, хотя Махкам-ака и заметил, что он подсматривает за ним из-под опущенных век.

— Ох, отец, зачем такие дорогие рубашки купили? — вздохнула Фатима-апа. — Купили бы ситца, я бы им всем одинаковые пошила.

— Одинаковые? Нет, зачем же, чтоб они как детдомовские были? — возразил Махкам-ака.

— Зато дешевые.

— Ничего, вытянем как-нибудь. Вот, получай зарплату, — бодро сказал Махкам-ака и протянул жене деньги.

Фатима-апа взяла и ужаснулась:

— Это все, что осталось? Как же мы до следующей зарплаты жить будем?!

— Проживем, — беззаботно ответил Махкам-ака и снова по-

вернулся к детям. — Что же вы не встаете? Кто первый встанет, подарок получит.

Леся выглянула из-под одеяла, спросила с интересом:

— А какой подарок?

— Встань — увидишь.

Леся вскочила и в ночной рубашке подбежала к Махкам-ака.

— Покажите подарок.

— А где твое здравствуйте?

— Здравствуйте, папа.

— Здравствуй, доченька, — и Махкам-ака одел ей тубетейку.

Леся запрыгала, запела какую-то ей одной известную песенку, поцеловала Махкама-ака и тут же пошла похвастаться братьям.

Первым встал Остап. Он поздоровался с отцом и застыл в выжидательной позе. Махкам-ака протянул ему рубашку, и Остап тут же надел ее.

— Ну как, в пору? — спросил Махкам-ака.

— Ага.

Теперь уже не выдержал Витя. Он встал и с видом самым незаинтересованным подошел к отцу поздороваться:

— Здравствуйте, папа.

— Добрый день... Вот обещал я тебе ботинки — бери!

— Спасибо.

Витя уселся на пол и стал примерять ботинки. Но ботинок не налазит на его ногу. Он явно мал. И как Витя ни старается — и тянет, и топает что есть силы — нога не входит.

Фатима-апа укоризненно смотрит на мужа, и Махкам-ака приходит на помощь Вите в его отчаянном единоборстве с новым ботинком. Но и совместные старания не приносят желанной победы.

У Вити губы-подрагивают от едва сдерживаемого плача. Махкам-ака тяжело подымается с пола и, вытерев с лица пот, говорит Остапу:

— Ну-ка, ты померь.

И снова повторяется все сначала.

Теперь приходит очередь Сарсенбая. Он с нетерпением ждет, когда Остап отдаст ему ботинок, и, не дождавшись, вырывает из рук. От усилий, которые прилагает Сарсенбай, лицо его нализуется кровью. Но результат тот же: видно, и ему не быть владельцем этого заветного сокровища. Очень досадно, до того, что хоть плачь. Да и у Махкама-ака невесело на душе. Посмотрите, какой у него огорченный, виноватый вид. А тут еще Фатима-апа спрашивает с такой едкой иронией:

— Вы не на свою ногу случайно примеряли эти ботинки?

Но Маххаму-ака не до шуток. Он озадаченно почесал затылок, соображая, что же теперь делать с этими злосчастными ботинками. На помощь ему пришла шустрая Леся:

— Папа, а вы отдайте их мне. Они как раз на меня будут.

Это была спасительная мысль. Маххам-ака просиял:

— Бери, скорей.

Леся быстро обулась, ноги ее утонули в ботинках. Она прошла по айвану, стуча и шаркая ими об пол, и всем вдруг стало очень смешно. Заразительно рассмеялся Маххам-ака, а вслед за ним и ребята, улыбнулась Фатима-апа, но веселее всех было Лесе.

— Вот так у вас всегда получается, — укоризненно сказала Фатима-апа.

— Ничего, мать. Мы в магазин пойдем, попросим хорошо — обменяют. Обязательно обменяют. Вот закончатся у них уроки, мы с Витей сразу и пойдем. Ладно, Витя?

— Ладно.

Небо затянулось тучами. Пасмурно. У знакомого двухэтажного здания школы суетятся люди. Одни выносят и грузят на машины парты, шкафы, стулья. Другие снимают с грузовика кровати и заносят их в школу. Здесь же, среди работающих, Фатима-апа, Витя, Остап, Сарсенбай.

Проходившая мимо Бувиниса-хола остановила соседку

— О, Фатима-буви, что здесь за новоселье готовится?

— Госпиталь, — коротко ответила Фатима-апа и понесла белую тумбочку, а другая женщина объяснила Бувинисе-хола:

— Из прифронтовой полосы госпиталь приехал. Здесь будет. Сейчас раненых привезут.

— Ва-ей! — воскликнула Бувиниса-хола. — Сейчас покупки отнесу, приду вам помочь.

Бувиниса-хола поспешно ушла, а в это время к школе подъехала первая санитарная машина. Из кабины вышла пожилая медсестра в белом халате с грудным младенцем на руках, за ней показалась девочка лет двенадцати-тринадцати. Женщина в халате передала ребенка девочке, приказала:

— Постой в сторонке.

Из машины выдвинули носилки, осторожно взяли их и понесли к школе. Девочка с ребенком на руках протиснулась к носилкам, позвала:

— Мама!.. Мама!.. — но ответа не было.

Сарсенбай и Остап следили за девочкой и, когда санитары с носилками скрылись в дверях, подошли к ней.

— Это твоя мама? — спросил Остап.

Но девочка, залившись слезами, ничего не ответила. Она убаюкивала младенца, который кричал все громче, все требовательней.

Сарсенбай понимающе кивнул:

— Голодный.

Остап посмотрел на девочку, на Сарсенбая и куда-то убежал.

К зданию подъехали еще две санитарные машины.

Плач младенца смешался со стоном раненых.

Остап появился вместе с Фатимой-апа.

— Вот она, — указал он на девочку.

Фатима-апа с состраданием смотрела на девочку, не зная, как и чем ей помочь. Затем, заметив медсестру, с которой приехала эта девочка, подошла к ней, отозвала в сторону. Сарсенбай придвинулся, чтобы расслышать их разговор.

— Не знаю, что и делать с ней, — говорила медсестра. — Хотела в детдом отправить — ни в какую. Твердит одно и то же: буду с мамой. А как ей здесь оставаться?! Я день и ночь около раненых, присмотреть за ней некогда. А младенца кормить?

— Может быть, она у нас пока поживет? Мы здесь недалеко. А мать выздоровеет — заберет.

— Это бы хорошо, да согласится ли?

— А вы ее уговорите.

— Ляна! — позвала медсестра, и девочка послушно подошла. — Вот, значит, какое дело, девонька: в госпитале тебе оставаться нельзя — начальник не велит. Будешь пока жить у этой тети — она здесь рядом живет.

— Я хочу быть с мамой! — слабым детским голосом возразила Ляна.

— Ты будешь каждый день приходить к маме, — ласково положила руку на голову Ляны Фатима-апа.

— Я хочу быть с мамой, — упрямо повторила девочка.

Детское отзывчивое сердце Остапа не выдержало:

— Пойдем к нам. Тебе хорошо будет.

Ляна молчала. Тогда Фатима-апа сказала ей серьезно, как взрослому человеку:

— Ты должна пойти. Иначе твой братик умрет с голоду... Что тогда скажет тебе мама?

На глазах Ляны появились слезы.

— Это не братик — это сестричка, — только и сказала она.

Фатима-апа взяла у нее младенца, и в сопровождении Остапа и Сарсенбая они пошли по вечерней улице.

Прижимая к груди плачущего младенца, Фатима-апа шла вдоль железнодорожного полотна. Было темно, и она часто спотыкалась. Наконец она остановилась у слабо освещенного окна

и прислушалась: из дома доносился плач грудного ребенка. Фатима-апа негромко постучала. Ей открыла женщина, лица которой в плотьмах не разглядеть.

— Фатима-буви! Заходите, заходите, — пригласила женщина.

Фатима-апа вошла в небольшую комнату, слабо освещенную маленькой лампочкой. На курпаче, разостланной вдоль стены, сидела молодая женщина с ребенком у груди.

— О, Салимахон, поздравляю вас с новорожденным, — подошла к женщине с ребенком Фатима-апа. — Все собиралась вас навестить, да некогда — заботы...

— Спасибо, Фатима-буви, — и тут только разглядев младенца на руках у гостыи, удивленно воскликнула: — Ой, и я вас поздравляю!

— Что ты, что ты, Салимахон! — устыдила ее женщина, которая открыла Фатиме-апа дверь. — Это, наверное, у вас приемыш?

— Да. Мать в госпитале, что в нашей школе. Очень тяжелая... Очень... А с этой просто замучилась — и соской пробовала ее кормить, и из ложки — никак не берет.

Фатиме-апа больше ничего не пришлось объяснять. Салимахон положила в люльку своего ребенка, протянула руку и бережно взяла у Фатимы-апа ее младенца.

Салимахон кормила девочку, с материнской нежностью разглядывая ее личико.

— Русская? — спросила она.

— Молдаванка.

— Будь проклята эта война! Никого она не щадит, — сказала с сердцем пожилая женщина.

Фатима-апа качала люльку, в которой лежал ребенок Салимахон.

Через несколько минут Салимахон протянула девочку Фатиме-апа, прошептала:

— Спит.

Фатима-апа поднялась.

— Куда вы? Выпейте с нами пиалу чаю... Посидите, — уговаривали ее гостеприимные хозяйки.

— Не могу — дети.

Женщины проводили Фатиму-апа до порога.

— Вы присылайте ее с детишками. А я окрепну немного, сама буду к вам ходить, — сказала Салимахон.

— Спасибо, дорогая.

Несколько минут хозяйки прислушивались к удаляющимся шагам Фатимы-апа, а когда они стихли, Салимахон тихо вздохнула.

У входа в госпиталь Махкам-ака и Фатима-апа разговаривали с знакомой медсестрой. Невдалеке, внимательно прислушиваясь к беседе взрослых, стоял Витя.

— Умерла... утром... — На глазах у медсестры слезы.

Минута тяжелого молчания. Затем медсестра спрашивает:

— Что теперь с детьми? В детдом?

Махкам-ака посмотрел на жену, сказал глухим голосом:

— Останутся у нас.

Фатима-апа кивнула.

— Но вам ведь совсем тяжело будет.

— Им тяжелей, — вздохнула Фатима-апа, думая, видимо, об осиротевших детях. — Когда хоронить будете?

— Завтра.

— До свиданья, — протянул руку Махкам-ака.

— До свиданья.

Медсестра ушла в дверь госпиталя, утирая косынкой слезы, а Фатима-апа подозвала Витю и строго спросила:

— Слышал, что тетя говорила?

— Слышал.

— Ляне об этом не говори. Понял?

Витя кивнул.

В воздухе, казалось, под самыми облаками, парил бумажный змей. Он то падал, то вдруг подымался все выше и выше.

На крыше, разматывая нитку, стоит Витя. Он настолько увлечен своим делом, что не сразу замечает за дувалом небольшую траурную процессию. Это хоронят Лянину маму. Витя сразу понял, потому что среди мужчин, несущих на плечах гроб, разглядел Махкама-ака. Несколько дальше он увидел одетую во все черное Фатиму-апа.

Витя отпустил бумажного змея, и он свободно взмыл над улицей, по которой в траурном молчании пронесли гроб.

Со двора до Витиных ушей доносился веселый детский смех. Он посмотрел вниз и увидел, как Остап, Сарсенбай, Ляна и Леся, привязав за ручку старое корыто, возят вокруг супы улыбающуюся Марику. Лица детей сияли таким безграничным счастьем, им всем было так хорошо и радостно, что Витя не выдержал:

— Ляна!

— Что?

— Не нужно сейчас играть.

— Это почему же? — вскинулся Остап.

— Говорю не нужно, значит, не нужно!

— А ну тебя! — отрезал Сарсенбай и поволок корыто дальше.

— Ляна! — чуть ли не с отчаяньем в голосе крикнул Витя,

но никто больше не обращал на него внимания — веселье было в самом разгаре. — Дураки вы все! — Попрям Витя кулаком в воздухе и медленно перевел взгляд с кудрявой черноокой Пашки на улицу, туда, где сейчас пронесли гроб с ее мамой.

Процессия удалялась. Витя видал, как остановилась встречная арба и арбакеш — бородатый мужчина в длиннополом халате, — соскочив с лошади, подставил под гроб плечо. Витя видал, как вышел из калитки какой-то парень с перебинтованной головой, как он подошел к гробу и понес его вместе с другими... Больше Витя ничего не видел. Он спустился по лестнице во двор, подошел к резвившимся детям и схватил Ляну за руку.

— Постой.

— А чего?

— У тебя... там... пуговица оторвалась.

Ляна быстро пробежала пальцами по пуговицам на платье, лукаво улыбнулась:

— Обманываешь... Где?..

Витя молчал.

— Да что это ты кислый такой сегодня? Не наелся, что ли?

— Нет... ты... не нужно сейчас играть.

Ляна отмахнулась и вприпрыжку побежала к грохотавшему по земле корыту. Витя растерянно посмотрел ей вслед и вдруг решительно рванул пуговицу на своей рубашке.

— Ляна, — подошел он снова к девочке. — Пришей мне пуговицу.

— Тебе?

— Мне.

— Чего ж ты говорил, у меня оторвалась?

— Я сказал, у меня.

— Где?

— Вот.

— Я тебе потом пришью.

— Нет, сейчас! — настаивал Витя.

— Ну, ладно уж, — Ляна бросилась на айван и через минуту выбежала оттуда с иголкой и ниткой в руках. — Давай! Где твоя пуговица? Потерял?

Витя молча протянул ей только что оторванную пуговицу, и Ляна начала пришивать.

— Ляна... — сказал Витя грустно.

— Что?

— Я что-то знаю... такое...

— Ну скажи! — и глаза Ляны загорелись любопытством.

— Не скажу! — печально помотал головой Витя и ушел в глубину двора.

Махкам-ака и Фатима-апа возвращались с похорон. У калит-

ки они остановились, обменявшись коротким взглядом, вошли во двор. Дети продолжали развлекаться.

.. Папа, мама! — первой заметила их появление маленькая Леся.

Веселой гурьбой дети окружили родителей и заговорили наперебой:

— Где вы так долго были?

— А Витя лазил на крышу.

— Мама, а я порезала палец!

— Посмотрите, как мы катаем Марику.

— Ой, весь двор вверх дном перевернули! — с притворной строгостью всплеснула руками Фатима-апа, увидев на земле следы, вырытые корытом.

Стараясь не показать детям печали, что тяжким камнем легла на сердце, Махам-ака заставил себя улыбнуться:

— О, да вы, я смотрю, настоящие изобретатели! Только, знаете, давайте лучше сделаем Марике настоящую люльку. Давайте?

Хор радостных детских голосов ответил ему:

— Давайте, папа!.. Давайте!.. Уже сейчас?

Махам-ака снял пиджак и вместе с окружившей его детворой направился в глубь двора.

Покинутая всеми Марика огляделась по сторонам и обиженно заплакала. На голос ее прибежала Ляна. Она взяла девочку на руки и поднялась на айван, где Фатима-апа занималась приготовлением обеда.

— Тетя Фатима, когда Марика заснет, я схожу к маме?

Фатима-апа на мгновение растерялась, но тут же, подавив волнение, сказала спокойно:

— Я сегодня заходила в госпиталь.

— И видели маму? — вся подалась вперед Ляна.

— Нет, доченька. Я маму твою не видела. У нее, понимаешь, очень тяжелое ранение, и здешние врачи решили отправить ее в другую больницу.

— В другую?! Куда?

— В эту... ну, как ее?.. В Алма-Ату. Есть такой город.

— А он далеко отсюда, тетя Фатима?

— Очень далеко, доченька.

Ляна как-то сразу сникла, и по лицу ее потекли крупные слезы. Фатима-апа подошла к ней, положила руку на вздрагивающее плечико, хотела сказать что-то утешительное, но в этот момент чуть сама не разрыдалась. Чтобы не подать виду, она взяла у Ляны уснувшую Марику и быстро ушла с айвана. А через минуту сюда вбежала веселая, раскрасневшаяся Леся. Заметив плачущую Ляну, Леся сразу притихла, спросила испуганно:

— Что случилось, Ляночка? Чего ты плачешь?.. Ну скажи.

Ляна молчала. Слезы катились по ее щекам, она вытирала их, а они все лились и лились.

Улица была превращена в футбольное поле. И хотя болельщиков на этом матче не было, шум над импровизированным стадионом стоял самый настоящий — вопреки всем установленным правилам, кричали сами футболисты. В этих командах не было защитников и полузащитников: все, кроме вратаря, были нападающими. В нападающих были сегодня Витя, Остап и Сарсенбай.

Детский разноцветный мяч летал от одних ворот к другим. Игроки были в хорошей спортивной форме. И вдруг мяч, выбитый из ворот, попал в ноги здоровому детине, неизвестно откуда здесь появившемуся. Парень был явно пьян, он раскачивался и что-то бормотал. Витя отчаянно бросился за мячом, но пьяный так посмотрел на мальчика, что тот застыл в нерешительности.

— Дядь, а дядь, отдайте мяч, — заканючил Остап.

Парень долго рассматривал мяч, словно это было какое-то неведомое и опасное животное, затем отвел ногу, чтобы ударить, но пошатнулся и чуть не упал.

— Дядя, не нужно бить — лопнет! — снова заныл Остап.

— Я вам покажу... как нужно бить! — заплетающимся языком сказал пьяный и ударил изо всех сил. Мяч перелетел через дувал, и в следующее мгновение со звоном рассыпалось оконное стекло.

Ребята остолбенели. Через минуту на улицу выскочила разъяренная Бувиниса-хола. Футболисты, как по команде, бросились в разные стороны. Пьяный поспешно спрятался за выступ стены. На мостовой остался только растерявшийся Остап.

Бувиниса-хола налетела на него коршуном, схватила за ухо, завопила:

— Вай дод! Разбойники! Я тебе покажу, как окна бить!

— Это не я, тетя. Это пьяный дядя разбил.

— Так я тебе и поверила! Ну-ка пойдём к твоей милой мачехе! — И Бувиниса-хола потянула Остапа за ухо.

От боли или незаслуженной обиды, а может быть, и от того, и от другого сразу, Остап громко заплакал. На плач вышел из калитки Махкам-ака.

— Вот, уста Махкам, — набросилась на него Бувиниса-хола, — вот что я терплю от ваших сирот!.. Житья просто нет! Разбил все окно вдребезги.

Махкам-ака возмутился, но сдержал себя, сказал тихо:

— Отпустите его! Зачем за ухо дергать?! У ребенка отец есть.

Бувиниса-хола невольно отпустила Остапа, а Махкам-ака сказал сухо:

— Вставлю вам стекло, не волнуйтесь!

Он подошел к разбитому окну, измерил палкой его длину и ширину и затем, вернувшись в свой двор, стал молча счищать замазку с оконного стекла на кухне.

— Это не я разбил стекло. Это — один пьяный, — промолвил Остап.

— Верю, сынок... На, поддержи... Ну-ка пошли.

Они вернулись во двор Бувинисы-хола и стали починять окно. Хозяйка искоса поглядывала на них, и, казалось, каждый гвоздь, который вбивал Махкам-ака в оконную раму, больно впиался ей в сердце.

Дети, толпившиеся у калитки Бувинисы-хола, робко заглядывали во двор и повторяли скучными голосами:

— Тетя, отдайте мяч... Мы здесь играть больше не будем... тетя...

Бувиниса-хола открыла калитку и злобно бросила мяч в лицо Сарсенбаю. Мальчик вытер рукой испачканное лицо и, сверкнув глазами, сказал с ненавистью:

— Спасибо.

Футболисты издали победный клич и понеслись по улице, едва не сбив с ног Салимухон, торопливо направлявшуюся в дом Махкама-ака. А в доме, видно, ее уже ждали. Фатима-апа протянула ей маленькую Марику, и Салимахон поднесла ее к груди.

— Как дочка ваша растет? — спросила Фатима-апа, присаживаясь рядом с Салимахон.

— Ах, я ее почти не вижу: утром ухожу — вечером прихожу.

— А в обед еще к нам прибежать успеваете... Спасибо вам, Салимахон.

— Что меня благодарить! У вас, Фатима-буви, забот не меньше.

— Как же иначе нам жить? Ведь не звери мы какие-нибудь — люди!

— Люди... — задумчиво повторила Салимахон. — А те, кто делает их сиротами, — они тоже люди?.. Сейчас на вокзале была. Новый эшелон прибыл. Из окон детские головы торчат — грязные, худые, заросшие. Смотреть больно.

На айван поднялся Махкам-ака, поприветствовал Салиму и, чтобы не смущать кормилицу, отошел в сторону.

— Много их там? — вернулась к прерванному разговору Фатима-апа.

— Вагонов десять битком. Из Харькова, Минска, Могилева... Где только размещать их будут? Все детдома забиты. Несчастные...

Салимахон поднялась и, посмотрев на стенные часы, заспешила:

- Ой, опоздаю!
- Беги, дочка. Спасибо тебе.
- Вечером пусть Ляна принесет.
- Принесет, принесет...

Салимахон скрылась за калиткой, а Фатима-апа подошла к мужу, коснувшись его руки:

- Слышали?
- Слышал.

Они посмотрели друг другу в глаза долгим задумчивым взглядом, прислушиваясь к детским голосам, доносившимся со двора, и не промолвили больше ни слова.

Фатима-апа открыла калитку и подтолкнула во двор хилого мальчугана в фуражке с большим сломанным козырьком. Вслед за ней, ведя за руки двух удивительно похожих друг на друга мальчиков, появился Махкам-ака.

Дети, шумно резвившиеся во дворе, примолкли, усталились на прошедших. Витя недовольно нахмурился.

— Ой, смотрите, — весело воскликнула Леся, — какие они одинаковые!

— Они близнецы, — пояснил Махкам-ака. — Это Саша, а это Леша.

Но Махкам-ака перепутал.

— Не Саша — Леша я.

— А я Саша, — внесли ясность пятилетние мальчуганы.

— Не все ли равно? — пошутил Махкам-ака.

Все рассмеялись, а Леся на радостях пустилась в пляс вокруг оторопевших новичков, напевая:

— Саша — Леша, Леша — Саша...

Витя дернул Остапа за рукав, прошептал мрачно:

— Принесла нелегкая. Теперь черта с два нам хлеба достанется.

— Брось ты жадничать! — отмахнулся Остап.

— А это, ребята, Лева, — представила третьего мальчугана Фатима-апа. — Никак не хотели Саша-Леша с ним расставаться.

— Ну, теперь вы все братья и сестры, — заключил Махкам-ака. — Договорились?

— Договорились! — дружно ответил ему разноголосый детский хор.

По утрам двор гудел, как пчелиный улей. Одни собирались в школу, другие выполняли свои неперемные домашние обя-

занности, третьи шумели и суетились просто потому, что это было весело и интересно. Наконец наступил момент, когда все семейство усаживалось за хантахту, и тогда наступала сравнительная тишина. Фатима-апа делила хлеб на равные порции и раздавала их детям. В обязанности Ляны входило разлить чай. У Леси за столом никаких общественных поручений не было, и потому она то незаметно утаскивала у кого-нибудь ложку, то подкладывала соседу заранее припасенного жука. Ее озорство вызывало бурю негодования, которая, впрочем, умиралась одним словом или даже строгим взглядом Фатимы-апа.

Эти сцены повторялись ежедневно. Но сегодня доиграть до конца Лесе не удалось. В тот момент, когда она ухитрилась незаметно стащить у Вити кусок колбасы и заменить ее катушкой и когда Витя начал уже тревожные поиски, отворилась калитка и во двор вошел бойкий мальчик лет тринадцати, может быть, четырнадцати. Все уставились на него выжидательно, и Лесина шутка, которая с таким трудом готовилась, была испорчена. Леся с недовольством поглядела на нежданного гостя, а тот смело спросил:

— Мне сказали, тут детей принимают. Это правда?

Вопрос был поставлен так прямо, что на минуту все растерялись, даже Махкам-ака, только что спустившийся с айвана.

— Хороших ребят мы усыновляем, — нашелся он наконец. — А приема-выдачи детей здесь нет. У нас не канцелярия.

Но парень не смутился:

— А меня не возьмете? Я тоже хороший.

Фатима-апа обвела взглядом всех сидевших за хантахтой, словно спрашивала их мнения. Витя побледнел, сказал, задохнувшись от гнева:

— Не надо его брать! Не берите! И так вся улица смеется. Говорят, детдом устроили. — И, поднявшись, крикнул оробевшему пришельцу: — Самим хлеба не хватает! Еще ты...

Под градом осуждающих, насмешливых, непонимающих взглядов Витя осекся. Он махнул рукой и сел, взъерошенный, еще больше побледневший.

Мальчик у калитки уныло повернулся и медленно пошел со двора.

— Постой! — окликнул его Махкам-ака и возмущенно напустился на Витю: — Встань!.. Извинись перед ним!

Витя стоял, посапывая носом.

— Извинись!.. — повторил Махкам-ака, а своему необычному гостю сказал: — Иди сюда... Как тебя зовут?

— Коля.

— Вот что, Коля, живем мы так: есть вода — все выпьем, есть камень — поровну сгрызем. Одну изюмину на сорок ртов поделим. Чтоб всем одинаково. Понял?

Коля кивнул.

— Тогда оставайся и помни: она будет тебе матерью, я — отцом... Здесь твое место, — и Махкам-ака усадил его между Витей и Остапом.

Казалось, больше всего беспокойств доставляют усыновленные дети Бувинисе-хола. Так во всяком случае можно было подумать, услышав как-то утром ее беседу с соседкой на айване собственного дома.

— Что я терплю от этих сирот — слов нет сказать!

— Озорные?

— Озорные?! Нет, настоящие хулиганы! То окно разобьют, то такой гвалт подымут — хоть из дому беги. Вот посмотрите, дорогая соседушка, посмотрите, каково мне.

Она подвела женщину к дувалу и любезно предложила ей ящик, видимо специально для того предназначенный, чтобы вести систематические наблюдения за соседним двором. Сама Бувиниса-хола поднялась на табурет, прихваченный с айвана.

Над дувалом выросли две женские головы. Бувиниса-хола таинственно зашептала:

— Посмотрите на супу.

На супе мирно спали дети. Девочки — с одной стороны, мальчики — с другой. Вот, раскинувшись, спит Витя. Вот знакомые лица Остапа, Коли, Сарсенбая, Левы, Лещи и Саши. А вот незнакомые лица. Это новенькие: Жора, Зина, Дзидра и Ренат.

— Сколько вы сказали, десять? — спросила женщина у Бувинисы-хола.

— Ой, какие там десять? Вот посчитайте сами, — и Бувиниса-хола начинает считать, тыкая в каждого пальцем. — Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Сколько я сказала? Семь? Да, семь... Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать... А куда еще один запропастился? Ага, вон он — маленький, в сторонку положили.

— Сколько их всего?

— Четырнадцать! Подумать только!

— Да, нелегко им справляться!

— Подождите. Это еще что? Вот проснутся — тогда посмотрите. Просто сил нет переносить все это... Говорю, какая нужда столько детей брать? Все равно, дорогая моя, чужой есть чужой — родными не станут... Еще и разных наций... Вот попомните мои слова: в один прекрасный день плюнут и уйдут.

— Если б вы не сказали, подумала — все свои.

— А разговоров-то, разговоров сколько вокруг: и добрые, и благородные, и такие, и сякие! А я — терпи!

— Ваша правда — трудно вам достается.

Фатима-апа слышала весь этот разговор, сидя у очага. Она посмотрела на мирно спящих детей и принялась разжигать самовар.

Солнце, выглянувшее из-за темного контура гор, бросило первый луч прямо в лицо спящего Леша. Леша проснулся, протер глаза и осмотрел сонное царство вокруг. Спать больше не хотелось. Ждать, пока проснутся остальные, было скучно, и Леша, не найдя шутки лучше, больно дернул за ухо спавшего рядом Сашу. Тот вскрикнул, подскочил и, сообразив, что произошло, ударил Лешу по шее. Леша обиделся: он пошутил, а Саша бьет его по-настоящему. Ответ не заставил себя ждать. Леша толкнул брата в грудь, и они вместе упали поперек супы на Витю, Остапа и Сарсенбая. Завязалась отчаянная свалка.

Фатима-апа подбежала к супе.

— Леша! Саша! — крикнула она, и близнецы, враждебно поглядывая друг на друга, разошлись в стороны.

— Кто затеял драку? — строго спросила Фатима-апа.

— Лешка, — ответил Саша.

— Сашка, — буркнул Леша.

— Чтоб я больше этого не видела! В нашем доме никто не смеет подымать руку на брата или на сестру, даже если они родные!

Фатима-апа, занятая стиркой, подозвала Лесю.

— Сними платье, доченька, — постираю. Скажи Ляне, пусть достанет тебе желтое.

Ляна сидела над арыком, старательно начищая песком закопченный чайник.

Под деревом, в тени, Дзидра, Леся и Зина качали в люльке хныкавшую Марику.

Остап старательно повторял движения, которые делал Коля, лежа спиной на супе. Он то подымал, то опускал ноги, то вдруг начинал нещадно тузить воздух.

С улицы, из-за дувала, донесся пронзительный свист. Коля прислушался и, когда свист повторился, выбежал со двора.

...Железнодорожное полотно. Приложив ухо к рельсам, Саша, Леша и Лева сосредоточенно к чему-то прислушивались.

— Идет? — спросил Леша.

— Идет! — торжественно воскликнул Лева.

— А у тебя? — приподнялся Саша.

— Не идет.

— Идет! — испуганно крикнул Лева.

— Врешь! Нет никакого поезда! — ополчились на Леву Леша и Саша.

— Мама идет!

Близнецы вскочили и стали поспешно отряхиваться. Но мажут не отряхнешь — он прочно въедается в одежду.

— Ну на кого вы похожи?! — всплеснула руками Фатима-апа. — Ведь только вчера чистое одели! Думаете, легко каждый день стирать целую гору. Язык устал у меня повторять одно и то же. Марш домой! И чтоб со двора — ни шагу!

Леша, Саша и Лева, виновато опустив головы, пошли домой. За ними следовала Фатима-апа.

У калитки она увидела Витю, Остапа и Сарсенбая, увлеченно гонявших мяч. Фатима-апа остановила их, сказала укоризненно:

— Что ж вы за братишками своими не присматриваете? И не стыдно вам? То, глядишь, к речке побежали, то на крышу взобрались, а сейчас на железной дороге поперек рельсов лежат. А случится что с ними — не жалко будет?

— Ладно, пусть с нами играют! — крикнул разгоряченный Остап. — Пошли, мелюзга!

...В каморке возле кухни Ренат и Леся что-то упорно ищут, перебирая железный лом и тряпки. Ренат куском железа стучит по всему, что попадает под руку. Выпачканная в саже Леся тащит из глубины каморки старую, проржавевшую водосточную трубу.

— А это, Ренат? — спрашивает она.

— Пойдет.

Леся выходит из каморки. Ее желтое платье, только недавно одетое, лицо, руки — все в саже. И тут — как назло — Фатима-апа.

— Ой, в какой топке ты побывала?! Ну, накажу я тебя за это: сейчас же сними и сама иди стирать! Быстро.

Леся подпрыгнула, радостно захлопала в ладоши:

— Стирать! Я буду сама стирать!..

...Согнувшись над корытом, Фатима-апа стирала. Рядом с ней, присев на супу, качала Марику пожилая длинноногая соседка. Леся терла в тазу свое желтое платье, и видно было, что стирка не доставляла ей того удовольствия, какого она ожидала.

— Уходит на работу с рассветом, возвращается запоздно, — рассказывала соседке Фатима-апа.

— Большая семья — большие заботы, — поддержала собеседница.

— Мама! — прервал разговор вбежавший с конвертом в поднятой руке Остап. — Письмо от Батыра-ака!

Фатима-апа торопливо вытерла пену с рук, схватила письмо и, распечатав, стала читать вслух:

— «Здравствуйте, дорогие папа и мама! Вчера получил ваше письмо и газету. Обрадовался, увидев вас на фотографии среди братишек и сестренек. Детей-то усыновили вы, а здесь фронтовые товарищи поздравляют меня. Просто превознесли до

небес. Понимаю, не легко вам воспитывать четырнадцать детей. Но я рад, что вы с такой душевной теплотой отнеслись к детям моих друзей, погибших на фронте. Кончится война, я приеду и буду помогать вам. Скажите детям, что я приказываю им слушаться вас...» — Фатима-апа посмотрела на детей, сказала внушительно: — Вот видите!.. — и продолжала читать письмо про себя. А дети стояли, окружив ее, и сочувственно следили за тем, как изменилось лицо матери — становилось мягче и светлее, добрей и моложе.

— Идите, играйте, потом все вместе напишем письмо Батыру, — сказала Фатима-апа, когда письмо было прочитано.

Дети разбежались, попробовала улизнуть и Леся, которой надоело возиться со своим желтым платьем. Но Фатима-апа удержала ее:

— Постирала уже?

— Да.

— Ну-ка, покажи.

Леся протянула платье в черных разводах.

— Стирай еще — грязное.

— Мне больше стирать почему-то не хочется, — захныкала

Леся.

— Стирай! Будешь знать, как пачкаться.

— Я больше не буду пачкаться.

— Правду говоришь?

— Вот честное-пречестное слово, не буду!

— Ладно, тогда иди, — сжалилась над девочкой Фатима-апа.

Леся обрадованно умчалась, а Фатима-апа сказала соседке:

— Вот так все время с ними и воюю.

— О, Фатима-буви! — раздался знакомый голос Бувинисы-хола. Ее голова торчала над дувалом. — Как ваше здоровье?

— Слава аллаху, не жалуюсь.

— Только с базара вернулась. Не нужен ли вам дешевый рис?

— Нет, спасибо.

— А что видала я на базаре — язык не поворачивается сказать. Один из ваших... длинный такой... ворует там арбузы.

Фатима-апа оторопела.

— Коля?

— Откуда мне помнить их имена? — пожала плечами Бувиниса-хола. Чувствовалось, что этот разговор доставляет ей истинное наслаждение.

Фатима-апа потупила взор, словно это ее уличили в воровстве, вытерла руки и, не переодевшись, направилась к калитке.

— Простите меня, — сказала она соседке, сидевшей с Марикой на руках, — я скоро вернусь.

Когда Фатима-апа вышла, соседка обернулась к Бувинисе-хола, все еще находившейся на своем наблюдательном посту, и совсем непочтительно проворчала:

— Вам бы сестрой милосердия работать — уж такое чуткое да нежное сердце у вас... как ржавый нож.

— Вай товба, что вы такое говорите! Разве я, по-вашему, молчать должна, когда этот, ее приемыш, там ворует? Пусть лучше побежит, остановит его.

— А что же вы не остановили? Увидели, так отвели бы в сторону, сказали, что следует.

— Ну и скажете, соседушка! Что я, милиция какая-нибудь — с ворами связываться?! Фатима-буви сунула голову в это ярмо, пусть и занимается теперь их воспитанием, отвечает за этих сорванцов. А я здесь ни при чем!

Соседка, стоявшая во дворе, презрительно отмахнулась от Бувинисы-хола, положила на супу уснувшую Марику и, засучив рукава, принялась за стирку, брошенную Фатимой-опа.

Многолюдный колхозный рынок. Бойкие выкрики торговцев и разноязыкий говор покупателей, блеяние овец и скрип арб, бравурная музыка из репродуктора, укрепленного на столбе — все это слилось, перемешалось и повисло над обширной базарной площадью, над рядами, усыпанными яблоками и спелым виноградом, гранатами и персиками, над грудями арбузов и дынь, над бурливым человеческим морем.

Фатима-апа пробивалась сквозь толпу, и взгляд ее тревожно перебегал с лица на лицо. Она подымалась на цыпочки, вытягивала сухую жилистую шею и искала, искала.

...Поджарый юноша в куртке, из-под которой виднелась уже видавшая виды матросская тельняшка, азартно торговался с продавцом арбузов, а в это время другой подросток незаметно откатил арбуз ногой в сторону, затем еще одна нога подтолкнула арбуз и, когда он оказался у стенки ларька, Коля нагнулся и поднял его. Поднял и осталбенел: перед ним стояла Фатима-апа! Коля еще никогда не видел ее такой бледной, взбешенной.

— Негодяй! — гневно бросила она незнакомым хриплым голосом и, не сдержавшись, звонко ударила его по лицу.

Арбуз вывалился из рук и с треском раскололся. Коля попытался, произнес заикаясь:

— Что вы для меня сделали? Почему бьете?!.. Какое вы имеете право? Меня и родная мать не била...

Коля окинул ее взглядом, полным ненависти и презрения, и скрылся в толпе. Он пробежал всего несколько шагов, и путь ему преградил продавец арбузов.

— Стой, поганый воришка! Я покажу тебе, как арбузы

красть!.. Ваня, иди-ка сюда! — позвал он здорового парня с черной повязкой на глазу.

Коля отчаянно сопротивлялся, вырывал руки, извивался, падал. Но продавцы арбузов держали его крепко. Вокруг них быстро собралась толпа любопытных.

— Еще дружки были, их бы тоже, — комментировала беззубая бабка с тощей корзинкой.

— За добрые дела — пища в рот, за дурные — слезы из глаз.

— А может, никого нет у него — голодный? — посочувствовала какая-то девушка, повязанная косынкой.

— Да что там — тащите его в милицию! Бедный, голодный...

— И родителей нужно к ответу. Куда смотрят?!

Фатима-апа с лицом, искаженным страданием, наблюдала за этой сценой.

— Для детей все старается, — сказал кузнец, отирая с лица черный пот.

— Как не стараться — их у него вон сколько. А жизнь нелегкая, сами знаете, — ответил ему другой. — Врача-то вызвали?

В углу кузнечной мастерской на деревянной лавке лежит без сознания Махкам-ака. Вокруг собрались кузнецы, беспомощно глядя на него.

— Может, еще разок позвонить? Сбегай, — говорит пожилой мастер шустрому пареньку, измазанному больше всех.

Кудрат выбежал и тут же вернулся с женщиной в белом медицинском халате.

— Что случилось? — деловито осведомилась она.

— Да вот, работал, работал, а потом раз — и все.

Женщина нащупала пульс, послушала Махкама-ака, затем поднесла к его носу какую-то склянку. Махкам-ака закашлялся, открыл глаза, виноватым взглядом оглядел столпившихся вокруг него людей.

— Да что вы все? В глазах просто помутилось, вот и прилег него людей.

— У вас, дорогой товарищ, сильное переутомление.

— Еще бы, две смены из мастерской не выходит, — подсказал пожилой кузнец.

— Вам нужно отдохнуть. Сейчас полежите немного и отправляйтесь домой, — сказала женщина и поднялась.

— Спасибо, — поблагодарил Махкам-ака, а когда она вышла, тяжело встал и, взяв молоток, подошел к наковальне. — Ну, начнем, Кудрат.

- Отдохнули бы вы, Махкам-ака.
- Это уж я потом — после войны.

Продавец арбузов и одноглазый Ваня тащили упиравшегося Колю под руки. За ними неотступно следовала говорливая толпа. Одни настаивали на самых жестоких наказаниях, другие — мягкосердечные — заступались и требовали его освобождения: мол, и так все осознал, не будет больше.

Фатима-апа затерялась в толпе. Она все видела, все слышала, и одна мысль сверлила ей мозг: «За что мне принимать на себя такой позор? Он мне не сын, не брат, он чужой...» Фатима-апа решительно вырвалась из толпы и, сама не желая того, обернулась. Коля больше не сопротивлялся. Испуганный и жалкий, он бессильно повис на державших его руках.

Фатима-апа сделала еще несколько шагов в сторону и снова остановилась. Нет, она не могла, не в силах была бросить Колю! Забыв об обидах, пренебрегая позором, который обрушится сейчас на ее голову, Фатима-апа пробилась сквозь толпу, схватила за руку продавца арбузов:

— Отпустите его. Он больше не будет!

— А вам какое дело? Чего вмешиваетесь?! — ответил тот грубо.

Но Фатима-апа не отставала:

— Я вижу, вы добрый человек. Не откажите моей просьбе... Он неплохой мальчик.

Продавец арбузов отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Тогда Фатима-апа перебежала на другую сторону, стала упрашивать Ваню:

— Простите его. Он никогда больше этого не сделает.

— Все мы добрые к вору, когда у другого крадут. А когда б у вас, сразу б по-другому заговорили.

— Нет, я за него ручаюсь.

— Да кто он вам такой, что ручаетесь?!

— Сын!

— Сын? — недоверчиво переспросили в один голос Ваня и продавец арбузов.

— Сын.

— Правду говорите?.. Эй, ты, она тебе кто? — спросил Ваня поникшего Колю.

— Она... она моя мама.

Ваня посмотрел на Фатиму-апа, на Колю и невольно отпустил его. Потом наградил парня легким подзатыльником и напутствовал:

— Чертополох поганый! Только доброго человека срамишь. Эх, попал бы ко мне в руки, научил бы тебя уму-разуму!

Фатима-апа и Коля возвращались домой вместе. Они не разговаривали, не смотрели друг на друга: Фатима-апа — потому, что не улеглась еще в сердце острая боль, которую причинил ей этот совсем чужой и в то же время такой родной и близкий мальчуган. Коля — потому, что не мог, не смел поднять голову и посмотреть ей в глаза. Уже когда они приближались к знакомой калитке, Коля тихо попросил:

— Не рассказывайте отцу... пожалуйста... Да?

Фатима-апа не ответила.

Они прошли еще немного и вдруг навстречу им из калитки появился Ренат в весьма странном виде. Собственно, все было нормально, кроме головы, — вместо головы чернел закопченный котел!

— Эй, что это еще за дурачество?! — раздраженно воскликнула Фатима-апа.

Из-под котла раздался гулкий и очень довольный голос:

— Мама?.. Это металлолом.

— Металлолом, мама. В школу отнести нужно. Сами на-шли, — защебетала выскочившая на улицу Леся.

— Металлолом, говорите? А в чем мы будем теперь плов варить?

— В кастрюле. У нас ведь есть такая большая кастрюля, — ничуть не растерялась Леся.

— Ну-ка, быстро поставьте на место! Поищите что-нибудь другое.

Ренат и Леся разочарованно вернулись во двор. За ними последовали Коля и Фатима-апа.

Белье, которое оставила Фатима-апа, отправляясь на поиски Коли, уже было выстирано и развешано на веревках. Соседка прополаскивала последнюю простыню.

— Ой, что вы! Я бы сама... Спасибо!.. Дайте-ка!..

Но соседка отстранила ее:

— Я уж закончу. А вы займитесь другим делом — у вас их немало.

— Спасибо! — повторила Фатима-апа и посмотрела на соседку с глубокой благодарностью — не только за то, что та постирала ее белье, но и за то, что она не стала расспрашивать о случившемся на базаре.

Это был беспокойный, тяжелый день. Не успела Фатима-апа разжечь очаг, как во двор с испуганным криком влетел Жора:

— Мама! Там Лева... упал... совсем не дышит!

— Где?

— Там вон... недалеко.

Фатима-апа вскочила и побежала на улицу.

...Лева лежал под дувалом, окруженный плотным кольцом

детворы. Глаза его были закрыты. Казалось, он действительно не дышит.

Фатима-апа подбежала, с криком ужаса остановилась над Левой, припала к нему.

— Ой, что с тобой, мой мальчик?! Дышит! Слава богу! Слава богу!.. Давайте перенесем его во двор.

Вместе с детьми Фатима-апа подняла Леву и понесла домой.

По дороге она спросила:

— Что случилось?

— Мы в войну играли... Взяли его в плен — он был партизаном. А когда допрашивать стали, он испугался и вот упал, — пояснил Леша.

— Но он, мама, никого не выдал! — с гордостью за стойкого «партизана» добавил Саша.

— Будь она неладна, эта ваша игра! Чтоб я больше не видела игру в войну! Поняли?!

Леву уложили на супу. Фатима-апа быстро намочила в воде носовой платок и положила его Леве на лоб, затем она приказала Ляне:

— Принеси лук!

От едкого запаха лука мальчик пришел в себя. Он открыл глаза, осмотрел всех вокруг.

— Что с тобой, мой маленький мальчик?.. Пить хочешь? На, глотни. Тебе будет легче... Как ты себя чувствуешь?

— У меня голова болит, мама.

— Полежи, полежи, мой хороший. Ведь говорила тебе: не бегай, посиди дома, ты ведь больной... Ну как, легче стало?

Лева отрицательно покачал головой, закрыл глаза.

— О боже, что за день! — горестно вздохнула Фатима-апа, укрывая Леву теплым одеялом.

Коля и Георгий белили внешние стены дома. Им нравилось это занятие, и потому настроение у обоих — веселое, радостное. А у дувала, где Махкам-ака заделывал глиной трещины, трудилась целая бригада: Остап, Сарсенбай, Ренат, Саша и Леша. Они размешивали глину, формовали ее и подносили отцу. Особенно усердствовали Саша и Леша.

— Бригада молокососов, — недобро усмехнулся лежавший на супе Витя, когда близнецы, тужась, проносили мимо него ведро с глиной.

— А ты бы, чем над малышами потешаться, помог лучше, — вступился за близнецов Николай.

Махкам-ака отобрал у малышей тяжелое ведро, понес сам. У побеленной стены остановился, осмотрел работу Георгия и Николая, сказал удовлетворенно:

— Молодцы, ребята. Хорошо побелили.

— Пойдите, отец, — испачкались, — и Николай снял с лица Махкама-ака присохший комок глины.

— Руки у тебя, Коля, ничего — рабочие... А может, и вправду, будешь после учебы приходить ко мне в кузницу? Обучу тебя ремеслу. А?

— Я бы, отец, на завод лучше.

— А чем моя профессия тебе не по нраву?

— Да нет, я разве говорю — плохая? Только мне бы сейчас не подковы ковать, а снаряды, пушки, танки!

Махкам-ака, обидевшийся было за такое пренебрежительное отношение к его труду, задумался, многозначительно посмотрел на Колю, признался:

— А, пожалуй, твоя правда... Что ж, если хочешь, помогу устроиться.

С айвана спустилась Фатима-апа, подошла к разговаривавшим, сказала обеспокоенно:

— Не знаю, что и делать слевой. Все температурит.

— А что доктор вчера сказал? — спросил Георгий.

— Говорит, пройдет... Нужно к большому доктору, к профессору с ним сходить.

Витя отложил книгу, повернулся к Ляне, что-то старательно переписывавшей:

— Что это ты там все сочиняешь?

— Секрет.

— Не скажешь?

— А зачем тебе?

— И не надо! Зубрила! — отвернулся Витя, но тут же незаметно зашел за спину Ляне и, напрягая зрение, прочел:

«Дорогая мамочка! Мы с Марикой очень за тобой скучаем. Когда уже ты к нам приедешь? Тетя Фатима очень хорошая женщина. Она на тебя похожа. И дядя Махкам тоже хороший. Ты за нас не волнуйся. Когда ты выздоровеешь...»

— Маме пишешь? — раздался за спиной Ляны Витин удивленный голос. — А мама твоя ведь умерла.

Ляна испуганно обернулась, вскрикнула в ужасе:

— Что?.. Неправда! Ты врешь!

— Сам видел, как хоронили, — с детской наивностью доказывал Витя и, посмотрев в изменившееся лицо Ляны, сам испугался. — Ты не плачь... Я не хотел... Это уже, знаешь, когда — давно было... Ну ты не плачь, слышишь, Ляна... Не плачь...

Он гладил ее плечо, пытался успокоить, смягчить тяжесть удара, который нанес так глупо, так беспощадно...

Плачет в колыбели оставленная всеми Марика.

— Ляна, покачай сестренку, — слышен голос Фатимы-апа.

Но Ляна даже не пошевелилась.

— Ты что, уснула? — подошла Фатима-апа.

Ляна подняла голову, оглядела женщину злобным взглядом затравленного зверька.

— Зачем вы меня обманывали?.. Почему вы не сказали мне?.. Я ведь вам... — И не договорив, она разрыдалась — горько, безутешно, отчаянно.

Фатима-апа прижала ее к груди, дрожащей рукой гладила кудри Ляны, и у самой по морщинистым щекам катились крупные соленые слезы.

Над полями, над садами, омытыми утренней свежестью, звенит весенняя песня жаворонка. Она звучит то совсем рядом, то удаляется в поднебесье и там сливается с другими голосами, чистыми и прозрачными, как само это небо.

На землю пришла весна в нежной кипени садов, в сочно зеленой одежде полей, в цветении маков. Сколько их рассыпано вокруг!

Фатима-апа сорвала несколько цветков и посмотрела на детей — они разбрелись по широкой долине, словно плыли по этому красно-зеленому морю. А в руках у них чудесными факелами пылали букеты полевых цветов.

У кладбищенских ворот Фатима-апа подождала детей и, когда все собрались, пошла вперед.

Они шли между могилами с чугунными оградами, мимо холодного мрамора надгробий.

Около могилы, усаженной цветами, Фатима-апа остановилась. Дети окружили могилу, бесшумно сложили на нее полевые цветы. Ляна упала на колени, провела рукой по зеленому холмику, будто погладила холодное тело матери, и тихо заплакала. Глядя на нее, заплакала и Марика на руках у Фатимы-апа.

Скорбной приглушенной мелодией отозвался оркестр на этот горький плач.

Витя прижался лбом к кладбищенской ограде и отсюда со страхом в глазах смотрел на могилу, на окруживших ее детей, на плачущих сестер...

Гнетущая тишина кладбища. Безмолвные, печальные лица. И песня жаворонка, которая теперь уже не кажется почему-то ни радостной, ни весенней.

Приемная поликлиники. На стульях и диване в ожидании своей очереди сидят женщины с детьми. Как обычно, когда нечем заняться, люди с особым интересом рассматривают каждое новое лицо, попадающее в поле их зрения. На этот раз объектом длительного изучения становится Махкам-ака, вошедший в при-

емную слевой на руках. Он усаживает бледного мальчугана на стул, стоящий в стороне, заботливо вытирает платком левино лицо.

Женщины наблюдают за ними с откровенным любопытством.

— Я знаю его, — заговорщически наклонилась к своей соседке женщина с девочкой на руках. — Он из нашей махалли, кузнец. Помните, в газетах писали, взял на воспитание четырнадцать детей.

— Как же, конечно, помню, — откликнулась другая женщина. — Еще писали, все дети разных национальностей.

— Точно. Один русский, один украинец, казах есть, молдаванка... А этот, кажется, еврей.

— На руках его принес, видали?

Из кабинета врача вышла женщина с рыжим ревушим мальчуганом. Голос медсестры вызвал:

— Следующий!

Какая-то женщина поднялась, пошла было к дверям кабинета, но на полпути повернулась к Маххаму-ака, почтительно проинесла:

— Проходите вы, мы подождем немного.

Это было настолько неожиданно, что Маххам-ака почувствовал себя неловко, даже смутился.

— Благодарю вас... Но я... мы...

— Ничего, ничего, вы идите, — поддержала очередь.

Маххам-ака поднял Леву и, прежде чем войти в кабинет, растроганно поклонился.

— Спасибо вам большое.

...На высоком операционном столе, переодетый в белый халат, лежал Маххам-ака. Рядом с ним Лева, объятый паническим страхом перед всеми этими шприцами, трубками, загадочными стальными ножами и кривыми ножницами, а главное — перед лицами в марлевых масках.

Идет переливание крови...

Маххам-ака повернул голову к Лева и подбадривающе мигнул: держись, мол, сынок! Мальчик ответил ему слабой, вымученной улыбкой.

Лунная ночь. Небо, тысячами звездных глаз уставившееся на притихшую землю. Они словно следят, подсматривают за тобой, и от этого на сердце становится смутно, тревожно...

Такая привычная и все же такая таинственная красота южной ночи! Длинные загадочные тени, безмолвные пустыни, едва приметное касание теплого ветерка... И звезды!.. Они манят, притягивают к себе. Кажется, что и пирамидальные тополи вытянулись, устремились, чтобы приблизиться к ним. Звезды...

На широкой супе, опьяненная дыханием ночи, спит Дзидра. Спит, рассыпав по подушке золотистые кудри. Безмятежно улыбается во сне курносая Леся. Спит Марика, крепко зажав в руке плюшевого мишку. Мечется, что-то бормочет сквозь сон, пугливо вздрагивает Зина.

А по другую сторону супы лежат мальчики: Коля... Георгий... Витя... Остап... Сарсенбай... Ренат... Лева... Леша... Саша...

С краю, примостившись рядом с девочками, спит Фатима-апа, утомленная дневными заботами и тревогами.

И только Ляна лежит с раскрытыми глазами, мечтательно всматриваясь в звездное небо. Что видит она там? Звезды? Или море... и себя на берегу, уже совсем взрослой, рядом с незнакомым юношей? Или, может быть, привиделся ей родной дом и склонившееся над ней лицо матери?.. Кто скажет, о чем думает девушка в такую ночь!..

Зина судорожно сжимает кулачки, зажмуривает глаза, словно не хочет, боится видеть то, что кошмаром стоит перед ее глазами...

...Охваченная пламенем улица. Грохот рвущихся снарядов и барабанная дробь пулеметов. Женщины с детьми на руках, в панике бегущие в противоположные стороны. Старик, застывший с поднятыми в проклятии кулаками. Из дымовой пелены медленно надвигается черное чудовище, извергающее из пасти огонь. Это танк с солдатами на броне. Танк приближается. Вот он уже рядом с Зиной, в ужасе прикипшей к маминой груди. Страшно! Страшно!!!

Какое-то серое животное, похожее на обезьяну, прыгает к Зине, вырывает ее из рук матери...

— Ма-ма!..

— Мама! — бьется во сне ребенок, потрясенный неправдоподобно ужасными видениями.

Фатима-апа вскинулась, взяла Зину на руки и, тихо напевая, пошла в глубь двора.

Ляна лежала, все так же зачарованно глядя в небо, исколотое блестками звезд. Откуда-то издали доносилась до нее ласковая мелодия узбекской колыбельной.

Девушка не заметила, когда небо стало затуманиваться, и вдруг перед ее глазами возникла иная картина.

...Живописное молдавское селение. Уютный дом в вишневом саду. У дома стройная красивая женщина с лицом, удивительно похожим на лицо Ляны. Она медленно покачивает колыску и поет колыбельную, молдавскую колыбельную...

Ляна стряхнула с себя дрему, протерла глаза, осмотрелась.

На супе мирно спало все многочисленное семейство Махкама-ака. По двору, убаюкивая Зину, ходила Фатима-апа. Она тихо напевала все ту же старую узбекскую колыбельную.

Ляна поднялась, взяла у Фатимы-апа успокоившуюся Зину.

— Ложитесь, тетя. Я сама ее укачаю.

Фатима-апа легла и тотчас уснула, а Ляна ходила по двору и чуть слышно пела молдавскую колыбельную.

Знойный летний полдень. Во дворе, в тени деревьев, разостлан палас и курпачи. Вокруг невысокого столика сидят дети. Перед каждым тарелка с затирухой и кусок хлеба. Подошла Ляна, положила ложки, командовала шутливо:

— Начали, гвардейцы!

Витя помешал ложкой в тарелке, недовольно поморщился:

— Жидкая совсем... Эх, жизнь пошла — затируха!

Язвительная усмешка Коли окончательно вывела его из равновесия.

— А ты чего ухмыляешься? — яростно набросился он на Колю. — Из-за вас вот эту бурду мне есть приходится.

— Опять ты за свое! И не надоест повторять одно и то же! — сказал Сарсенбай, как говорят обычно о чем-то приевшемся до оскомины. — Сам такой же, как все, а держится хозяином. Все тебя объедают, твою воду пьют, твою землю топчут.

Витя не на шутку обозлился, схватил ложку и швырнул через стол в Сарсенбая. Ложка угодила в затируху, разбрызгала ее во все стороны. Несколько горячих капель брызнуло в лицо Сарсенбая. Он мгновенно вскочил и со сжатыми кулаками пошел на Витю.

— Брось, Сарсенбай! Не тронь этого пана, — удержал его Остап.

Сарсенбай вытер рукавом забрызганное лицо, успокоился, сел на место. Однако через минуту он снова встал и, взяв тарелку, спокойно направился к Вите.

— На, ешь! Это твое, — сказал он, поставив перед Витей свою тарелку.

Коля, поднесший уже было ложку ко рту, вылил затируху обратно в тарелку, подвинул ее Вите:

— Кушай, тварь ненасытная!

И сразу все тарелки оказались сдвинутыми к Вите. Все, кроме него, стали из-за стола и отошли в сторону, а Остап добродушно спросил:

— Что ж ты не ешь?.. Кушайте, пожалуйста, дорогой Витенька, кушайте — не стесняйтесь!.. Чтоб ты подавился!

С айвана спустилась Фатима-апа, удивленно посмотрела на столпившихся во дворе детей:

— Что ж вы не едите?

— Аппетита нет, мама, — слукавил Лева.

Фатима-апа недоверчиво хмыкнула и тут только заметила одинокую сгорбленную фигуру Вити. Она подошла к нему, увидела сдвинутые тарелки и все поняла.

— А у тебя, Витенька, не пропал аппетит?.. Может, добавки хочешь?

— Не беспокойтесь, тетя Фатима, он сегодня уже с голоду не умрет, — ядовито ответила за него Ляна.

А Витя сидел, уткнувшись в свою тарелку, и слезы капали у него с носа в жидкую затируху. Мягкосердечному Леве стало жалко его. Он придвинулся поближе к Вите, заглянул ему в лицо, приготовился сказать какие-то утешительные слова, но Фатима-апа отстранила Леву и строго погрозила пальцем: не тронь!

На голом каменистом берегу широкой речки собралась вся мужская часть семейства Махкама-ака. Нет только самого Махкама-ака и Вити. Мальчишки резвятся: прыгают в воду, ныряют и гонятся друг за другом, вздымают фонтаны белых брызг, с увлечением играют в дарбазу. Далеко по реке несутся их озорные голоса:

— Держите Остапа!

— А ты попробуй — догони!

— Эй, вы, кто утащил мои трусы?!

— Ничего, так побегаешь!

— А-у! Хлопцы, тут рыба. Валяй сюда!

Из-за каменной глыбы на тропинке показался Витя.

Ребята отвернулись, сделали вид, что не заметили его. Даже когда он подошел к реке и, раздевшись, плюхнулся в воду, никто не посмотрел на него, не обратил никакого внимания.

Витя еще продолжал плескаться, когда на берегу показался высокий незнакомый парень лет пятнадцати. У парня был воинственный вид. Он глубоко засунул руки в карманы галифе, пренебрежительно сплюнул, крикнул Вите:

— Ну-ка, вылазь! Не мути воду!

Витя продолжал купаться, сохраняя чувство собственного достоинства.

— Тебе говорят, вылазь! Ну! — снова крикнул парень, но на этот раз в голосе его слышалась угроза.

— Я тоже купаюсь. А река не твоя! — не сдавался Витя, хотя видно было, что перспектива столкнуться один на один с этим могучим противником не доставляла ему большого удовольствия. Витя бросил беглый взгляд в сторону своих сводных братьев, в глубине души рассчитывая на их поддержку. Но они спокойно загорали на берегу и, казалось, даже не слышали этого разговора.

Витин протест вызвал негодование незнакомого парня. Он поспешно сбросил с себя одежду, вошел в воду и, схватив Витю за шею, стал окунать его.

— Хотел купаться — пожалуйста! — повторял он в те моменты, когда Витина голова появлялась на поверхности воды.

Витя пробулькивал что-то невразумительное и снова скрывался под водой.

— Утопит ведь! — первым не выдержал Лева и встал. За ним поднялись остальные.

— Ну, пойдём, ребята! — спокойно сказал Николай.

Всей гурьбой ребята бросились в воду. Малыши брызгами ослепили незнакомца. Георгий и Николай схватили его за руки и стали окунать так же, как он только что окунал Витю. Наконец парню удалось вырваться. Он выбежал из воды, поскользнулся и упал. Подгоняемый грозными криками, он тут же вскочил, схватил свою одежду и пустился наутек. За ним с гиканьем и свистом понеслась вся ватага.

Витя вышел на опустевший берег, присел, больно закусил губу.

Вскоре преследователи вернулись. Они сбегали с крутой горы и с победным кличем один за другим прыгали в воду.

Вите очень хотелось помчаться за ними следом, но гордое ребячье самолюбие удержало его на месте. В этой борьбе гордыни с чувством благодарности восторжествовало доброе начало. Витя встал и, разбежавшись, бросился в реку. Он нырял и, появившись на поверхности, отфыркивался, набирал пригоршнями прозрачную речную воду и плескал ею себе в лицо, словно желал отмыть его от давней присохшей грязи.

Леся стояла у калитки и, жмурясь от яркого солнца, смотрела вдаль, словно провожала или встречала кого-то. Она очень обрадовалась, увидев знакомого почтальона, и, подпрыгивая, устремилась навстречу.

— Здравствуйте, тетя Салтанат!

— Здравствуй, Лесенька!

— А нам письмо есть?

— Есть... Держи. Не потеряешь?

— Нет, что вы!

— Неси маме, быстро.

— До свиданья, тетя Салтанат.

Леся с радостным возгласом влетела во двор и, размахивая в поднятой руке конвертом, остановилась перед Фатимой-апа.

— А нам письмо! От брата, наверно.

Фатима-апа распечатала конверт, но прочесть письмо не смогла. Оно было написано по-русски.

— Ляна! Почитай-ка, дочка, что здесь написано, — нетерпеливо попросила Фатима-апа.

Ляна сбежала с айвана, взяла письмо и уже открыла рот, чтобы прочесть, но так с открытым ртом и замерла.

— Что ж ты язык прикусила? — испугалась Фатима-апа. — Что там написано?

Ляна молчала.

— Что там написано, Ляна? — снова переспросила Фатима-апа, и теперь стало заметно, как дрожат у нее губы, как трясутся сухие узловатые руки. — Читай же! — не своим голосом закричала она.

— Брат... брат... он передает всем приветы, — бесцветным голосом заговорила Ляна. — Пишет, что скучает за вами...

Письмо трепещет в руках Ляны, отчетливо видны слова: «...пал смертью храбрых в борьбе за...»

Шумно распахнулась калитка, во двор с гомоном и смехом ввалились дети, размахивая кто портфелем, кто планшетом, а кто и просто картонной папкой. Перебивая друг друга, они, как обычно, торопились выложить Фатиме-апа все школьные новости.

— Мама, у меня по чтению пять! — хвастался Ренат.

— А Остап тройку по арифметике получил! — с видимым удовольствием сообщил Сарсенбай.

Его удовольствие имело свои причины: как и множество людей, даже взрослых, когда им нечем похвалиться, он испытывал бессознательную потребность доказывать, что и у других, собственно, успехи весьма сомнительные.

Остап возмущился:

— Не тройку, а четверку... Ты бы лучше о себе рассказывал!

— Жора в автокружок записался.

— Сарсенбаю учительница сказала, чтобы вы пришли в школу, — наябедничал Ренат.

Но Фатима-апа не слышит, о чем они говорят. Она тянет руку к письму, которое Ляна пытается спрятать за спину, отбирает его и передает Коле, прошептав одними губами:

— Читай!..

Фатима-апа не спускала остановившихся глаз с Коли, пока он читал это короткое, страшное письмо, и еще прежде, чем он дочитал, Фатима-апа поняла все, поняла, что нет у нее больше сына, что смерть отобрала у нее самое дорогое. В ушах ее приближаясь и нарастая, звучит трагическая мелодия, сопровождавшая первые кадры фильма.

Это музыка то иступленная, неистовая, то порывистая и мятежная, то похоронно-торжественная. Надрываются в скорбном рыдании скрипки, ухают тупые удары барабанов. И не знает Фатима-апа, что это — эхо далеких взрывов или стук крови в

висках... Двоится, распадается солнце на множество ослепительно-ярких осколков. Все небо охвачено пламенем, будто над головой, от горизонта до горизонта, сплошное солнце... И вдруг кромешная тьма и жуткая тишина могилы...

— Мама! — вскрикнула Дзидра, видя, как пошатнулась и упала Фатима-апа.

Детские лица исказились страхом. Кто-то испуганно заплакал. Ляна положила голову Фатимы-апа себе на колени, отрывисто приказала:

— Воды!.. Георгий, вызови скорую помощь!.. Кто-нибудь за отцом!..

Лева принес пиалушку с водой. Девушка смочила виски и лоб Фатимы-апа, но она продолжала лежать — бледная, с закрытыми глазами.

Мужчина средних лет в старомодном пенсне, стоя рядом с кузнецами у наковальни, убеждал Махкама-ака:

— Вы только распишитесь, товарищ Абдурахманов, остальное — не ваше дело.

— А за что мне эти деньги? — упорствовал Махкам-ака.

— Сначала распишитесь, потом узнаете.

На помощь конторскому служащему пришли кузнецы.

— Расписывайтесь, мастер, что там?! Не взятку вам дают, — пробасил один.

— Может, лишними будут? Так вы мне их отдайте, — пошутил другой.

Махкам-ака пригладил усы, подумал и расписался. Мужчина в пенсне достал деньги и, передавая их Махкаму-ака, приготовился произнести подобающую случаю приветственную речь:

— Дорогой товарищ Абдурахманов! По поручению правления нашей артели я вручаю вам сейчас небольшую сумму. Это скромная материальная помощь. Вы заслужили ее честным...

Закончить речь конторскому служащему не пришлось — в мастерскую, возбужденный, задыхающийся от долгого бега, ввалился Коля:

— Отец! С мамой плохо...

— А?! — обомлел от неожиданности и испуга Махкам-ака.

— Сознание потеряла... лежит...

Кузнец выронил молоток, сорвал с себя фартук и выбежал на улицу.

В кузнице наступила зловещая тишина.

Над Сарсенбаем, который чистил у очага картошку, раздался голос Коли:

— Эй, повар! С такой чисткой без обеда останемся. Ты вот как срежай — тоненько. — Николай взял у Сарсенбая нож и показал, как следует чистить картофель. — Понял? Это тебе, брат, не алгебра: тут головой работать нужно!

— Понял, — надулся Сарсенбай.

Ляна налила воду в котел, сказала Коле:

— На завтра картошки нет... и масло кончается.

— Добудем! — обнадежил ее Коля. — Послезавтра на работу выхожу!

— Договорился уже? — завистливо поглядел на него Сарсенбай. — На завод?

— Ага.

— А учебу бросишь?

— После войны доучусь. Нельзя ведь всем на отцовской сидеть. Хотя небольшая будет, а все же помощь.

— Возьми меня с собой, Коля, а? Я тоже помогать буду, — с робкой надеждой умолял Сарсенбай.

— Мал еще! — пренебрежительно отрезал Коля.

Сарсенбай обиделся:

— Тоже мне...

Против обыкновения тихо вошли во двор Витя и Остап с небольшим узелком.

— Ну, как там? — почти одновременно спросили Коля, Ляна и Сарсенбай.

— Не пустили нас, — ответил за обоих Остап. — Передачу взяли, а в палату, говорят, нельзя.

— Эх, вы! Спросили хоть, как себя чувствует?

— Сказали, удовлетворительно... — Ребята молча разошлись по местам.

С улицы раздался резкий свист. Коля прислушался, поковырял палочкой землю и остался сидеть у очага. Свист повторился. Но и на этот раз Коля не пожелал ни откликнуться, ни выйти к своим приятелям. Только когда приоткрылась калитка и во двор заглянула вихрастая мальчишечья голова, Коля поднялся.

— Ты что, оглох? — заговорщически шепнул незванный гость.

— А чего? — неприязненно отозвался Коля.

— Пойдем погуляем... Погодка — только рыбу удить!

— Не пойду.

— Понятно. За старшего воспитателя остался? Поздравляю!

— Тебе какое дело?!

— Испугался, значит. Правильным стал, — надсмехался над Колей вихрастый парень.

— Знаешь, что? Валяй-ка ты отсюда!

— А это уж, простите, как пожелаем... Пожелаем — уйдем, а пожелаем — расскажем твоим дорогим родителям, как ты на базаре платищем торговал... своим, конечно, со своего плеча.

— Ошибся ты: не своим он торговал — маминым, — решительно вмешалась в разговор Ляна. Она подошла к калитке, воинственно размахивая половником. — Мама послала его обменять платье на картошку. Понял?

— А мама теперь вместо платья будет носить картошку? — усмехнулся вихрастый парень.

Эта невинная шутка стоила ему разбитого носа. Парень поднялся и, напружинившись, приготовился к драке. Но злобные глаза Коли и половник, который, подобно булаве, покачивался у Ляны в руках, охладили его пыл. Он трусливо шмыгнул в калитку и уже из безопасной зоны пригрозил:

— Ну погоди! Мы еще с тобой встретимся!

— Жду с нетерпением, — рассмеялся Коля.

На маленькой арбе, запряженной ослом, едет рослая, богатирского сложения женщина. Рядом с ней маленькая девочка с полсотней косичек-змеек на спине. Она проковыряла пальцем дыру в мешке и с аппетитом поедает извлекаемый оттуда сушеный урюк и орехи. Женщина видит это, но молчит: пусть поест ребенок.

Арба катит по улице. На перекрестке женщина окликнула прохожего:

— Где дом Абдурахманова-кузнеца, не знаете?

— Вон калитка, — указал прохожий.

Осел поплелся дальше.

— Мама, а вы все отдадите? — спросила девочка, и по тому, как она спросила, чувствовалось, что расставаться с мешком ей очень не хочется.

— Все, доченька. Это колхоз другим детям послал.

— Целый мешок?

— Да.

— А нам?

— Нам... в другой раз, — неопределенно объяснила женщина, жалостливо глянув на дочь.

Арба еще немного поскрипела и смолкла у дома Махкамаака. Женщина спрыгнула, быстро сорвала с головы ситцевую косынку и, беспокойно оглядевшись по сторонам, стала горстями пересыпать орехи и урюк из мешка в разостланную косынку. Затем она связала косынку, отдала ее девочке, продолжавшей сидеть на арбе, а сама подхватила мешок и вошла в калитку.

Никто не заметил, как она вошла и поставила мешок. Ляна продолжала стирать, Жора рубил дрова, Дзидра, подымая облака пыли, старательно подметала двор. На супе Леся мыла голову, а Зина поливала ей из кастрюли.

Женщина молча наблюдала за ними до тех пор, пока ее присутствие не было обнаружено Дзидрой.

— Смотрите! — шепнула девочка так, что все разом оглянулись.

— Здравствуйте!.. Заходите!.. — нерешительно приглашали дети, прервав свои занятия и с интересом рассматривая незнакомую женщину.

— Где ваша мама?

— Мама... в больнице.

— Что случилось?

— Старший брат... на фронте.... — не договаривает Ляна, но по лицу ее женщина и сама догадывается, что произошло со старшим братом на фронте.

— Сильно болеет мама?

Леся кивнула.

— А вы заходите. Что ж у порога стоять? — пригласил гостью Георгий.

— Нет, спасибо... Я вот привезла вам подарок от колхозников, — указала женщина на мешок.

— Подарок? — переспросила Ляна, не зная, что делать с таким большим подарком — принимать и благодарить или отказаться. — Спасибо вам, только я не знаю...

— Да чего там, от подарка отказаться — обиду нанести, знаешь?

— Спасибо!.. Вы садитесь, отдохните немного, — и Ляна глазами приказала ребятам сделать, что положено для достойного приема гостя.

Женщина прошла к супе, села на поспешно разостланную Зиной курпачу. В тот же миг Георгий поставил перед женщиной хантахту, Сарсенбай принес чай. Принес, поставил и шепнул Ляне на ухо:

— А хлеба-то нет. Чем угощать?

Ляна отстранила его и налила гостье чай.

— Пейте, пожалуйста.

Дети чинно сидели на супе, придумывая, чем бы еще угостить и занять гостью. А женщина будто уловила их скрытые мысли. Она развязала мешок, высыпала на скатерть пригоршню урюка и орехов, сказала очень просто:

— Берите, ешьте!

Ребята застеснялись, поглядели друг на друга, словно искали разъяснения, как следует вести себя в сложившейся обстановке. Их сомнения разрешила Ляна, спокойно взявшая со стола несколько урючин. Вслед за ней потянулись и остальные.

Прихлебывая горячий чай, женщина смотрела, с каким удовольствием поедается подарок колхозников. Не часто, наверное,

случается этим ребятишкам лакомиться. Да и что тут удивляться — время-то какое!

Невеселые раздумья женщины прервала Ляна, исполнявшая сегодня обязанности хозяйки дома:

— Что ж вы чай без ничего пьете? Берите, тетя, — и протянула ей горсть урюка.

Женщина растрогалась:

— Ах, какие вы славные! Вот бы все у нас такие были!

Сказала и неизвестно почему помрачнела, насупилась.

— Я пойду уже, дорога дальняя, — вскоре промолвила она, раздраженно швырнув на стол урюк, что держала в руке.

— Посидите еще с нами, — вежливо, как делала это всегда Фатима-апа, предложила Ляна.

Но в гостье произошла какая-то непонятная перемена: съжившись, словно от холода, она тяжело зашагала к калитке, не отвечая на прощальные приветствия детей, не обратив внимания на учтивые слова Ляны:

— Приходите, тетя, когда мама вернется. Ладно?

Женщина подошла к арбе, неласково взглянула на дочку, аппетитно поевавшую урюк и орехи, вырвала у нее из рук завязанный узлом платок и торопливо вернулась во двор.

— Эй, возьмите вот еще. На арбе забыла, чтоб мне провалиться!

— Да что вы, тетя? Нам и так достаточно, — запротестовала Ляна, отведя руки за спину.

— Бери, бери, дочка! Это не я — колхоз вам дарит. — Она насильно вложила узелок Ляне в руки, и лицо ее просветлело. — Будьте здоровы все! Я еще к вам приеду, обязательно.

— Спасибо, тетя.

— И вам спасибо, — широко улыбнулась женщина уже с порога. — До свиданья!

Ляна недоуменно пожала плечами.

— До свиданья!..

Больничная палата. На кровати с широко открытыми ввалившимися глазами лежит Фатима-апа. Она осунулась, постарела, глубокая печаль углубила прежние морщины, прорезала новые в углах поблекших губ.

— Смотрю я на вас и думаю, зачем терзаете себя? — обратилась к ней пожилая женщина с соседней кровати. — Эдак и загубить себя недолго... Вы успокойтесь, возьмите себя в руки.

— Сердце разрывается... — призналась Фатима-апа, и по ее щеке покатились слеза.

— Тяжело пережить такое горе. Сама испытала, понимаю... Только что же делать, дорогая? Слезами горю не поможешь...

В приоткрывшейся двери показался Коля, за ним Ляна, Жора, Остап, Витя, Сарсенбай, малыши.

Фатима-апа незаметно вытерла слезы, приподнялась на встречу.

— Лежите, мама, не подымайтесь! — присела на край кровати Ляна. — Как вы себя чувствуете?

— Лучше, доченька.

— Вы уже поправились, мама? — пробилась вперед Леся. — А я вам вот что принесла! — и девочка протянула букетик райхона. — Красивые, правда?

— Очень... А как вы там хозяйничаете? Голодные, наверное?

— Что вы, мама! — возразил Виктор. — У нас теперь картошки, знаете, сколько!

— Ну, молодцы!

— А это мы вам принесли, — протянул Лева объемистый сверток.

Больные в палате растроганно глядят на детей.

— А папа перешел работать на большой завод! — сообщила Леся.

— Знаю, доченька.

— Вчера опять двенадцать писем получили.

— И позавчера — семь.

— А посылки! Всю нишу заложили!

— Сегодня открыли одну — там консервы какие-то и кукла. Вот у Леси она.

— Какая замечательная у тебя кукла! — к удовольствию Леси похвалила игрушку Фатима-апа. — Ты ей волосы рвать не будешь?

— Нет, мама. Та была плохая, непослушная.

— Ты умница. А что в письмах пишут? — спросила Фатима-апа.

— Хотите послушать?

— Почитайте.

Коля достал из кармана пачку писем, развернул одно, стал читать вслух:

— «Уважаемые Фатима-апа и Махкам-ака! Мы глубоко тронуты вашим благородным поступком. Усыновив четырнадцать осиротевших детей разных национальностей, заменив им погибших отцов и матерей, вы совершили настоящий подвиг. Наш народ гордится вами — щедрыми, великодушными, замечательными людьми. Ваш гуманизм — наше сильнейшее оружие против врага. Ваши большие, полные любви, горячие сердца вернули детям потерянное счастье. Это будут помнить и ценить не только усыновленные вами дети, но и весь народ, вся наша страна...»

Письмо взволновало Фатиму-апа. Она взяла его у Коли, посмотрела и спрятала под подушку.

— Хотите еще послушать? — спросил Коля, разворачивая другое письмо.

— Почитай.

«Я старая женщина, у меня за плечами уже немало лет. Мне, слепой, разбитой тяжелыми болезнями, нелегко было связать эти варежки. Я их вязала для сына. Он сражался на фронте. Но у меня нет больше сына — он убит... Я хочу, чтобы эти варежки носили ваши дети. Ведь они и мои дети тоже...»

Вошедшая в палату медсестра прервала Колю:

— Детки! Вам пора. Нельзя переутомлять больную... Шагом марш!

— До свиданья, мама, — неожиданно захныкала Леся.

— Идите, идите, дорогие мои.

— Поправляйтесь, а то скучно.

Дети вышли. В коридоре послышалась какая-то возня, до ушей Фатимы-апа доносились приглушенные голоса:

— Понимаешь, нельзя туда!

— А я хочу к маме! — Это был голос Левы. — Пустите!

— Ты разволнуешь ее. Маме станет хуже.

— Не станет... Пустите меня к ма-аме! — заревел Лева.

Возня в коридоре усилилась, на минуту приоткрылась дверь и в ней показалась заплаканная Левина физиономия.

— Мама! — успел позвать он, но тут же чья-то сильная рука оттянула его и осторожно прикрыла дверь. — Ма-ма! — снова раздался Левин крик из коридора. Затем все смолкло.

Фатима-апа приникла к подушке и заплакала. В этих слезах была уже не только тяжелая скорбь, но и светлая радость материнства.

Больные, приподнявшись в постелях, смотрели на Фатиму-апа. Однако никто не сказал ей слов утешения. Нужны ль они ей были сейчас?..

Во дворе, набрав полный таз воды, Ляна купала Марику. Девочка брызгалась, размахивала мочалкой, а когда в глаза попадало мыло, пронзительно визжала.

Они не заметили, как оказалась здесь незнакомая женщина. Женщина выглядела очень усталой или больной и все время озиралась по сторонам.

— Здравствуйте! — нерешительно подошла к ней Ляна.

— Добрый день... Здесь живет кузнец, что детей усыновил?

— Да.

— А где дети?

— Кого вам надо? Нас много.

— Дзидра... дочь моя... где?

— Ваша дочь? — удивилась Ляна. — Они на поле. Нам завод участок дал... Я сейчас, я мигом... — Ляна завернула Марику в простыню, протянула женщине. — Подержите, — а сама выбежала на улицу.

...На участке, выделенном Махкаму-ака заводом, работала вся семья.

— Дзидра! — закричала Ляна еще издали. — Дзидра! Твоя мама приехала.

— Моя мама?

— Ну да, твоя первая мама!

Дзидра сначала непонимающе, потом недоверчиво посмотрела на Ляну.

— Иди же! Правду тебе говорю. Там твоя мама!

— Мама! — вскрикнула Дзидра и стремглав помчалась по полю. За ней понеслось и все многочисленное семейство.

Выбиваясь из сил, далеко позади остальных бежали смешные малыши Саша и Леша.

Дети ввалились во двор и застыли в предвкушении той редкой сцены, которая должна была сейчас разыграться у них на глазах.

Женщина переводила взгляд с одного лица на другое, ища и не находя своей дочери.

— Вот же она, тетя! — говорит Ляна и выводит вперед Дзидру.

— Нет, это не Дзидра, — огорченно покачала головой женщина.

— Почему это она не Дзидра?! — обиделся за сестренку Ренат. — Она Дзидра!

— Нет, это не моя дочка, — удрученно опустила глаза незнакомая женщина и, взяв свой дорожный мешок, направилась со двора. — Извините.

Дети постояли минуту молча, и тут только, задыхаясь, все в испарине, с грохотом появились в калитке Саша и Леша. Они тревожно оглядели двор — неужели опоздали? И поняв, что это так, расстроились окончательно.

— А где же мама? — спросил Леша, обиженно скривив губы.

— Какая мама?

— Дзидрина мама, — пояснил Саша.

— Дзидрина мама? Она в больнице. А что?

Саша и Леша озадаченно вертели головами, с трудом соображая, разыгрывают их или говорят всерьез. Вид у них был такой ошалелый, что ребята дружно рассмеялись.

У выхода из больницы Фатима-апа пожала руку медсестре,

которая ее провожала, и сразу же попала в ребячий улей. Она едва протиснулась к Маххаму-ака, стоявшему поодаль с Марикой на руках. Маххам-ака опустил ребенка на землю, сказал:

— Иди!

И Марика, неуверенно переставляя ножки, сделала несколько шагов к присевшей на корточки Фатиме-апа.

— Ма-ма! — ясно выговорила малышка.

— Голубушка моя, доченька!

Фатима-апа счастливо осмотрела все свое многочисленное семейство и вдруг забеспокоилась:

— А где Ренат?

— Он дом сторожит.

Удобно устроившись на верхушке дерева, Ренат прилаживал скворечник. Он не заметил, как над дувалом появилась голова Бувинисы-хола. А та, осмотрев двор и никого не обнаружив, озабоченно промолвила:

— Куда они все ушли?.. Очень интересно... очень интересно...

— За мамой ушли, — сказал с дерева Ренат.

Бувиниса-хола задрала голову, нашла глазами мальчугана, спросила елеинным голоском:

— А что же ты, голубчик, не пошел маму встречать?

— Меня дом караулить оставили.

— Подарки?.. Молодец, малыш! Ты их хорошо карауль. Мама придет, знаешь, как им обрадуется.

— Почему же ей не радоваться? Интересные подарки.

— Дай ей бог, дай ей бог, твоей маме. Ловкая она женщина, чуёт, где чем пахнет!

Ренат не понял, удивился:

— Чем пахнет?

— А, что ты разумеешь!.. Только я тебе скажу: думаешь, очень нужны вы ей все были, сердцем болела за вас, голодранцев? Как бы не так! Она на вас теперь вон какое богатство наживет! Зря не стала бы брать...

Слова Бувинисы-хола будто ударили Рената. Он не знал, что ответить, а когда крикнул с болью в голосе «Вы... вы врете!», соседки на дувале уже не было.

Ренат спустился с дерева, прошел через айван в комнату, где сложены подарки, в задумчивости остановился перед ними. Со двора слышались оживленные голоса.

— Пришли, — прошептал Ренат, но встречать не бросился. Он отчетливо расслышал, как Фатима-апа спросила:

— А где же Ренат?

И кто-то ответил ей:

— Побежал, наверное, на улицу с ребятами играть. Хорош караульщик!

Ренат забился в темный угол, так, чтоб его не заметили. И как раз вовремя, потому что в комнату вошло все говорливое семейство. Леся побежала к нише, где были сложены посылки, и закричала:

— Смотрите, мама, как много! Теперь можно открывать?

— Это вот из Куйбышева, — указал Витя на одну.

— А эта из Москвы, от Николаева.

— Тут есть и из Якутии.

Остап показал на пачку писем:

— Уже четыреста тридцать!

— А вы на них отвечаете? — спросила Фатима-апа.

Дети виновато молчат.

— Нет, — сознался Лева.

Фатима-апа укоризненно покачала головой:

— Люди делятся с вами последним куском, себе отказывают. а вы и не подумали ответить! И не стыдно вам?

— Я напишу.

— Я тоже, мама.

— И я напишу, большое-большое письмо, — говорит, озорно улыбаясь, Остап. — Напишу: спасибо за подарки, присылайте еще!

Лицо Фатимы-апа передернулось:

— Ты что такое говоришь?! — Но в тот же миг дружный детский смех подсказал ей, что Остап шутит. — Глупые шутки! — прикрикнула она. — Чтоб я их больше не слыхала.

И тут из своего укрытия вышел Ренат.

— Ренат! — потянулась к нему Фатима-апа.

Мальчик исподлобья глянул на нее, отстранился.

— Что с тобой?.. Что ты молчишь, сынок?

— Я не сынок вам, — грубо оборвал ее Ренат.

Фатима-апа отпрянула, спросила:

— Почему?

— Почему... Потому что я теперь знаю, для чего вы всех нас усыновили — чтоб богатство нажать!

— Какое богатство? Что ты такое говоришь, Ренат?!

— Вот какое, вот оно: посылки, подарки, гостинцы, мешки, ящички!..

— Ой, горе мне! Кто тебе это сказал?

— Сам вижу!

Мажкам-ака подошел к жене, сказал мягко:

— Не волнуйся — нельзя тебе, — и кинул на Рената взгляд, полный негодования. — Нажили мы себе богатство... в твоём лице!

Ренат сорвался с места и побежал. Никто не сделал попытки

его остановить, не бросился вдогонку. В комнате стояла тяжелая, напряженная тишина.

Махкам-ака о чем-то глубоко задумался, затем, не сказав ни слова, медленно вышел из комнаты, пересек двор и побрел по улице. словно приняв какое-то решение, он свернул к мостовой и поднял руку, желая остановить проезжавший грузовик. Но грузовик пронесся мимо. Тогда Махкам-ака подошел к арбе, которая плелась по противоположной стороне улицы, и о чем-то заговорил с арбакешем.

Арба подкатила к дому Махкама-ака и остановилась. Кузнец вошел во двор, крикнул:

— Ну-ка, ребята, кто поможет?

Дети окружили Махкама-ака, с готовностью ожидая его приказа.

— Все это, — он ткнул пальцем в нишу, где были сложены посылки, — все это — на арбу!

— А куда мы их повезем? — спросил Витя, но Махкам-ака вместо ответа подхватил тяжелый ящик и понес к арбе. За ним потянулась целая вереница грузчиков. Когда все это имущество было перенесено и уложено на арбе, Махкам-ака сказал: — Пойдемте все. Только Марику оставьте.

Мальши уселись на арбу, дети постарше пошли рядом с Махкамом-ака по тротуару.

— Куда мы это все повезем? — недоумевал Сарсенбай.

— На базар, наверное, — предположил Витя.

Застывшая в калитке Бувиниса-хола наблюдала за происходящим с нескрываемым интересом.

...Арба подъехала к воротом какого-то дома.

— Ой, да это ведь детдом! — удивленно воскликнул Витя.

Махкам-ака в сопровождении примолкших детей вошел во двор, поприветствовал знакомого директора.

— А, добро пожаловать, Махкам-ака! — радушно встретила его женщина. — С чем пожаловали?

— Вот ребята мои подарки вам привезли.

Сарсенбай подтолкнул Витю локтем в бок:

— А ты говорил, базар...

Добродушный сапожник, что сидел на углу двух улиц, заметил Фатиму-апа и, продолжая заколачивать гвоздь в старый сапог, промолвил уважительно:

— Как ваше здоровье, Фатима-апа? Куда вы все торопитесь?

— Сына моего, Рената, не видали случайно?

— Не видал.

Фатима-апа прошла.

Просторный зал детского дома. У стенки, возле мешков и ящиков, стоят Георгий, Остап, Сарсенбай, Ляна, Витя, Леся, Зина, Дзидра, Лева, Леша и Саша. Они раздают подарки детдомовским ребятам, которые под присмотром воспитательниц выстроились в длинную очередь. Гвалт стоит здесь невообразимый. Дети перекликаются через весь зал:

— Костя! А у меня мяч!

— Глянь, ребята, какой мишка!

— Наталья Герасимовна, на меня эти валенки не лезут.

Георгий вынул из мешка варежки, протянул аккуратному розовощекому мальчику:

— Это тебе.

— Спасибо.

Остап отдал рослому пареньку новенькие брюки. Парень тут же развернул их и стал примерять. Вокруг него собрались дружки, каждый с каким-нибудь подарком.

Следующим в очереди к Сарсенбаю был курчавый мальчик лет десяти. Сарсенбай засунул руку в мешок, извлек оттуда детскую соску и с самым невинным видом протянул ее пареньку, желая, видимо, подшутить над ним. Мальчуган обиженно нахмурился, а вокруг звучал громовой хохот.

Только Витя еще не раздавал подарков. Он склонился над своим мешком и никак не мог его развязать. Не мог или не хотел. Дети в очереди нетерпеливо понукали Витю:

— Что ты так долго?

— Нужно отсюда потянуть.

— Слушай, давай я тебе помогу!

Подошел Махкам-ака, глянул на понурого Витю и, понимая, очевидно, что происходит сейчас в этой мальчишеской душе, сказал бодро:

— Ну, Витяджан, раздавай подарки! А что больше всего понравится — оставь себе.

Превозмогая внутренний протест, негнушимися, будто чужими пальцами Витя наконец развязал свой мешок.

Очередь волновалась.

Первое, что вытянул Витя из мешка, была ушанка. Кожаная, подбитая мехом. Чья-то мальчишеская рука потянулась за ней. Но Витя быстро спрятал ее за пазуху. За ушанкой последовал свитер с замком-молнией. Спрятать его тоже за пазуху под стальными взглядами детей Витя не решился и — хочешь не хочешь — пришлось ему со свитером расстаться.

— Спасибо, ака, — поблагодарил Витю счастливый владелец свитера.

Дальше пошло легче. Он уже даже начал улыбаться, когда вручал застенчивой девчужке такой красивый, весь в мелких цветочках, шелковый сарафан. Потом он раздавал еще какие-то

Не коснется его
 среди грозы и огня,
Пусть он знает:
 растет его сын
 у меня!
Если умер отец твой —
 крепись, не горюй.
Спи, мой мальчик,
Ягненок мой белый,
 усни...*

В вечерние сумерки возвращалась домой Фатима-апа. Невдалеке от калитки она увидела соседок, что-то оживленно обсуждавших.

— Не нашли своего беглеца, Фатима-буви? — спросила Бувиниса-хола.

— Нет, — коротко ответила Фатима-апа и вошла во двор.

— Бедняжка, — посочувствовала одна из соседок. — Извелась совсем. Трудно, говорят, и одного ребенка воспитать, а у нее их вон сколько!

— Много трудов — много и вознаграждений, — ядовито вмешалась Бувиниса-хола. — Видали, какие подарки получают!

— Не для себя ведь. Детей оденут.

— Хе! Детей оденут! Как бы не так. На базар повезли!

— Да что вы, Бувиниса-хола, языком-то мелете?! Меня спросите — сама видела. Подарки в детдом отвезли, сиротам раздали.

— В детдом?.. Сиротам?.. — Это кажется Бувинисе-хола таким неправдоподобным вымыслом, что она даже рассмеялась. — Так сразу и поверила!

— О, боже, что вы за человек, Бувиниса-хола!

Соседки презрительно отвернулись от нее. Бувиниса-хола стала виновато оправдываться:

— Нет, конечно, может быть... Разве я что говорю?

— Не говорите — пачкаете! — отрезала пожилая соседка.

— И как у вас язык поворачивается на таких людей клеветать! — поддержала ее другая.

— Да я... да вы меня не так поняли... я хотела сказать... у меня и на уме того не было!.. — прижимая руки к сердцу, объяснялась Бувиниса-хола.

— Пойдемте, соседочки, поможем ей по хозяйству, — предложила пожилая женщина в широком цветастом платье.

— Пойдемте, — откликнулась другая, и женщины направились к калитке, за которой только что скрылась Фатима-апа.

* Гафур Гулям. Ты не сирота. Русский перевод С. Сомовой.

— И я, пожалуй, с вами пойду, — направились было за ними Бувиниса-хола. Но пожилая соседка в цветастом платье обернулась к ней и решительно заявила:

— Вам бы, дорогая, лучше своим хозяйством заняться.

Женщины ушли. А Бувиниса-хола осталась на улице. Одна, растерянная и подавленная.

Арба, груженная углем, стояла у калитки Бувинисы-хола. Арбакеш выпряг лошадь и, наклонив арбу, высыпал уголь. Бувиниса-хола отсчитала деньги, протянула арбакешу:

— Перенесли б в сарай — еще дала.

— Сотню дадите?

— Да вы что?! За такие деньги я б и сама перетаскала.

— Ну и тащите! — Арбакеш запряг лошадь и ударил ее камчой.

Бувиниса-хола взяла ведро и, наполнив его углем, с трудом, покряхтывая, потащилась во двор. Она не заметила возвращавшегося домой Махкам-ака, да и до него ли ей сейчас было!

Махкам-ака затворил калитку и позвал:

— Георгий!.. Там соседка уголь носит — помогли бы, надорвется старуха. А вы всей артелью в полчаса справитесь.

Из ворот гурьбой высыпали ребята.

— Давайте ведро! — сказал Бувинисе-хола Георгий. — Мы вам поможем.

— Ох, какие вы молодцы! Сейчас я вам еще ведра принесу.

...Ведрами и просто в руках — большие глыбы — переносят дети уголь Бувинисы-хола. Вот уже и последнее ведро потащил Сарсенбай.

Бувиниса-хола благодарно посмотрела на детей, подозвала маленького Сашу и протянула ему рублевку.

— На, сынок, купишь семечки.

Саша заколебался, посмотрел по сторонам, будто спрашивая совета, заметил у калитки Ляну, отрицательно покачивавшую головой.

— Спасибо, тетя, не нужно, — сказал он и вместе со всеми побежал домой.

Бувиниса-хола стояла, разинув рот, с измятой рублевкой в протянутой руке и смотрела вслед убежавшим мальчишкам.

Был жаркий, душный день. Сгибаясь под тяжестью кошелки, Бувиниса-хола возвращалась с базара. Перед входом в кино-театр она опустила кошелку и утомленно прислонилась к стене.

— Тетя, билетик не нужен? — подбежал к ней шустрый черноглазый мальчик.

— На что мне твой билет! Я эту картину, когда еще молодая была, сто раз смотрела.

Мальчик сразу потерял к Бувинисе-хола всякий интерес. Он отошел в сторону, где его дожидался другой паренек, очевидно, напарник, и, разглядев второго, Бувиниса-хола обомлела: Ренат!

Ренат тоже узнал Бувинису-хола. Они посмотрели друг на друга, и Бувиниса-хола очень мягко и ласково спросила:

— Это ты?.. Ай-ай-ай, как тебе не стыдно!.. А мама где только тебя не искала!.. Что ты здесь делаешь?

— Кто? — ткнул в бок Рената его напарник.

— Соседка.

— А! — и он пренебрежительно отмахнулся.

Бувиниса-хола украдкой, чтобы не вспугнуть, приближалась к мальчикам, затем — внезапный прыжок, и Ренат забился, как цыпленок в когтях у коршуна.

— Отпустите, отпустите меня! — барахтался в ее объятиях Ренат.

— Ах ты, старая карга! — дернул ее за длинный рукав второй мальчик.

Ренат мог вырваться. Нужно было принимать срочные меры, и Бувиниса-хола, увидев поблизости милиционера, закричала, будто ее грабили:

— Милиция! Милиция!..

Напарник Рената повернулся, сделал несколько прыжков в сторону и угодил прямо в руки милиционеру.

— Билетами спекулирует, шпана! — не могла успокоиться Бувиниса-хола.

— Этот тоже? — указал милиционер на мигом присмирившего Рената.

— Этот? Нет. Этот купить хотел.

Милиционер откозырял и скрылся в толпе вместе с мальчуганом, а Бувиниса-хола, не отпуская Рената, подняла корзину и сказала:

— Ну, пойдём. Проводишь меня немного.

Мальчик покорно последовал за ней.

...Бувиниса-хола и Ренат стояли лицом к лицу. У них происходило серьезное объяснение.

— Сказал, не пойду, и не пойду! — твердил Ренат.

— Да почему не пойдешь, я тебя спрашиваю? — в отчаяньи всплеснула руками Бувиниса-хола.

— Зачем спрашиваете? Сами знаете почему!

— Ренат, сынок, послушай — неправда все это!.. Я, старая

дура, во всем виновата, наговорила тебе бог весть чего. А они люди хорошие, добрые, бескорыстные. Поверь мне...

— Бескорыстные! — с издевкой повторил Ренат. — Взяли нас, чтоб за счет сирот разбогатеть.

— Да не так все это! — взмолилась Бувиниса-хола.

— А подарки? Сами говорили.

— Дурой была, вот и говорила, — со слезами тяжелого раскаянья на глазах промолвила Бувиниса-хола. — А посылки отвезли они в детский дом, сиротам раздали.

— Что?

— Раздали, говорю, посылки.

Ренат стоял потрясенный.

— Как вы сказали? — переспросил он, словно не веря ушам своим.

— Раздали, раздали, ничего себе не оставили, — повторила Бувиниса-хола.

Ренат бросил на нее взгляд, полный лютой ненависти, и, не сказав больше ни слова, понесся к знакомой калитке.

Бувиниса-хола с трудом подняла корзину и вздохнула:

— Невоспитанный ребенок. Нет чтобы помочь старшим корзину донести. Даже «до свиданья» не сказал.

Салтанат торопилась. Тяжелая сумка была ее по спине, мешала идти. Девушка отирала струившийся по лицу пот, поправляла сумку и поспешно шла дальше. Она почти вбежала во двор Махкама-ака и, размахивая в руке телеграммой, радостно закричала:

— Эй, хозяева! Несите суюнчи!

Фатима-апа непонимающе смотрит на Салтанат.

— Сын ваш едет! Батыр-ака!

Фатима-апа пошатнулась и упала без сознания.

На айване в кругу детей и соседей сидит Батыр. Леся играет медалями на его гимнастерке, Саша и Леша сосредоточенно изучают шпоры. Батыр заканчивает рассказ, который, видимо, начат уже давно:

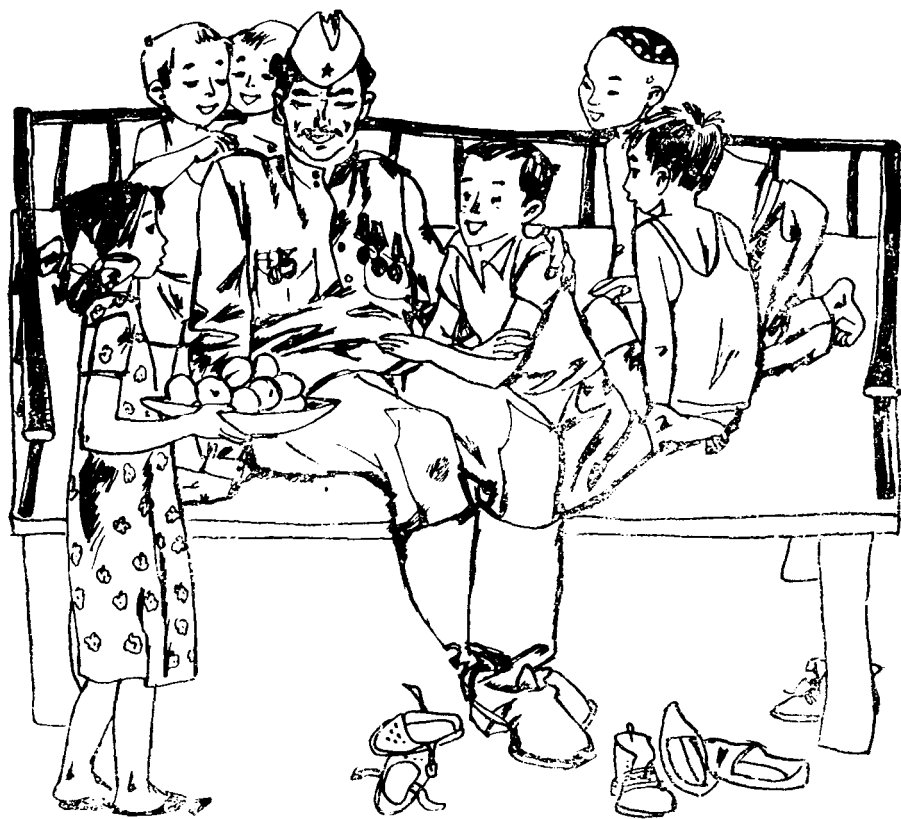
— Вот так четырнадцать месяцев и ходили по тылам противника...

Фатима-апа поставила на хантахту поднос с персиками, сказала, лукаво улыбнувшись:

— Ешьте, дети! И ты, Батырджан, ешь персики... Помнишь, ты не захотел однажды взять их с собой. Они тебя ждали.

Сидит вокруг хантахты вся немалая семья Махкама-ака. Что-то рассказывает Батыр и над чем-то смеется Витя, проходят на экране озаренные светлыми улыбками лица Коли и Георгия, Леси и Рената, Ляны и Сарсенбая, Дзидры и Остапа, Марики и Зины, Левы, Леси и Саши. Смотрят на детей, охваченные счастьем этой минуты, Махкам-ака и Фатима-апа.

Звучит на экране музыка. Это звонкая песня жаворонка — весенней птицы, что вьется в чистом голубом небе.



Рассказы



КАК САБИР БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЯВИЛ

Фатима Эргашевна написала на доске домашнее задание и приготовилась было отметить в журнале отсутствующих, как распахнулась дверь и в класс вошли старший пионервожатый — ребята уважительно величали его Джурабай-ака, хотя ему не исполнилось и семнадцати и звали его просто Джура — и секретарь школьной комсомольской организации девятиклассник Абдували. Все, конечно, насторожились, потому что не так уж часто приходят к ним такие важные гости.

— Ребята, — начал, откашлявшись, как заправский оратор, Джура, — завтра у нас торжественный сбор, посвященный дню рождения Владимира Ильича Ленина. Будем принимать октябрят в пионеры.

Что тут началось! Класс зашумел, как растревоженный улей, кто-то на «камчатке» от радости затопал ногами, а коротышка Зульфия пискнула «ура!», но, поймав строгий взгляд Фатимы Эргашевны, смутилась и уткнулась головой в парту.

Джура подождал, пока класс уgomонится, и продолжал:

— К нам на сбор придут лучшие рабочие и комсомольцы Н-ского завода. И еще мы пригласили фронтовика — капитана

Исмаилова. Через два дня он опять уезжает на фронт, но обещал обязательно прийти.

Тут уж ребята так расшумелись, что Фатима Эргашевна, как ни старалась, не могла их успокоить. И было отчего шуметь. Уже целый год шла война, а многие ребята еще ни разу не видели настоящего фронтовика.

А Джура, стараясь перекричать не в меру расшумевшийся класс, говорил:

— На сборе мы должны рассказать нашим гостям, как учимся, помогаем семьям фронтовиков, какая у нас крепкая дисциплина, чтобы капитан Исмаилов, вернувшись на фронт, сказал бойцам и командирам: «В тылу у нас полный порядок». Ясно? А теперь скажите-ка, торжественное обещание юных пионеров вы выучили? Пионерские галстуки у всех имеются?

— Наизусть выучили!.. Имеются!.. — наперебой загалдели ребята.

— Ну молодцы. Хорошо подготовились, — сказал Джура и уже собрался было уходить, как вдруг заметил за последней партией мальчишку, грустный вид которого словно говорил, что ему и радость не в радость. Джура направился к нему, но тут сидевший рядом с мальчишкой Сабир вскочил с места.

— Можно, я скажу? — спросил он, обращаясь к Джуре.

— Говори, что у тебя там.

— У Сунната галстука нет. Отец на фронте, мать в больнице... Негде ему взять...

— Так, понятно. У кого еще нет галстука?

Одна за другой поднялись еще две руки.

— Ясно, — сказал Джура, — вам галстуки подарят комсомольцы.

Услышав это, Сабир заерзал на парте и ткнул в бок сидевшего рядом Санджара. «Вот здорово, — жарко зашептал он, — знать бы такое, так и я бы сказал, что у меня галстука нет». Санджар ни капельки не удивился. Уж кто-кто, а он-то знал, что Сабиру словчить — что глазом моргнуть. Фатима Эргашевна, видимо, тоже поняла, что у Сабирова опять что-то на уме, глянула на него так, что он покраснел до ушей и, не выдержав ее взгляда, уставился в потолок.

Лишь один человек — Азиз — сидел с отсутствующим видом. С того момента, как Джура объявил, что на сбор придет настоящий фронтовик, капитан Исмаилов, он больше ни о чем другом и думать не мог. «Интересно, какой он? Похож ли на брата Таштемира, в первый же день войны ушедшего на фронт? А когда Таштемир вернется, его тоже станут приглашать на пионерские сборы? Вот здорово было бы!»

Азиз живо представил себе, как Таштемир, в военной форме, вся грудь в орденах, перед застывшим строем повязывает ему

галстук. Он отдает брату пионерский салют и говорит: «Я с честью буду носить этот галстук, а когда придет пора, тоже встану на защиту Родины». Азиз оглядывается на ребят. В глазах у них немой восторг. Каждый с нетерпением ждет своей очереди.

Придя домой, Азиз осторожно снимает галстук и, аккуратно сложив вдвое, кладет под подушку — чтоб не измялся, а главное, чтоб Гульнора не достала.

Приятный ход мыслей нарушил Джура.

— Слушайте внимательно, — сказал он, — сейчас я вам расскажу, как будет проходить наш сбор. Отличники, самые примерные, дисциплинированные октябрята во главе с Азизом Азимовым встанут в первом ряду. Мы попросим капитана Исмаилова, чтобы он лично повязал Азизу галстук.

«Правильно, правильно!» — послышались возгласы ребят. Азиза в классе уважали. Круглый отличник, мастер на все руки, он всегда первым брался за самую трудную работу, и как-то само собой получилось, что ребята признали его своим вожаком.

Джура хотел продолжить рассказ о том, как будет проходить сбор, но заметил поднятую руку Сабира.

— Что у тебя? — спросил он.

— У меня вопрос.

— Спрашивай.

— Разве предателя можно принимать в пионеры?

— Что?! — удивился Джура. А весь класс, и Фатима Эргашевна, и Абдували в недоумении уставились на Сабира, будто спрашивая: «Ты думаешь, что говоришь?»

Фатима Эргашевна встала со стула, поправила очки, — она всегда так делала, когда волновалась, — медленно-медленно подошла к Сабиру.

— Ты что, Сабир? Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь, или болтаешь, что на ум взбредет?

Сабир стоял, опустив голову и переминаясь с ноги на ногу.

— Может быть, ты ошибся или повторяешь то, что слышал от кого-то? — продолжала Фатима Эргашевна. — Если ошибся — скажи, мы простим.

— И вовсе я не ошибся! — отрезал Сабир.

В классе стало еще тише. Казалось, пролети не только муха, а крохотный комарик, москит — и то будет слышно. Фатима Эргашевна, Джура и Абдували молча переглядывались, словно спрашивая друг друга: «Как быть?»

«Будь проклята эта война, — думала Фатима Эргашевна. — Каких только слов ни слышалась детвора за это страшное время... Не только школьники, дошколята, играя, то и дело выкрикивают: «предатель», «изменник», «дезертир», «фашист».

— Что ж, расскажи, что знаешь, что видел, — обратилась Фатима Эргашевна к Сабиру.

— Не я один, все видели...

— Когда, где?.. Говори же.

— Скажите, — начал Сабир, — сейчас ведь война?

— Так.

— Ну вот. Значит, нельзя разглашать военные тайны, нужно быть бдительным. Правильно?

— Верно.

— Почему тогда Азиз перед всеми ребятами пахвалился, что у него есть... Я не скажу, что у него было, потому что если я вслух произнесу это слово, получится, что я тоже изменник. А он говорил и даже показывал, вот. И еще хвастался, что его брат сам сделал. А брат у него комсомолец. Разве это не предательство?

Брат Азиза, семиклассник Лазиз, уже два месяца работал на заводе вместо ушедшего на фронт отца. Завод секретный, даже названия у него нет, только номер. Конечно, Лазиз должен был строго хранить государственную тайну и никому не рассказывать, что завод выпускает. А он неделю назад принес домой новенькую блестящую гильзу от винтовочного патрона и с гордостью показал матери и Азизу: вот, мол, что я умею делать. Конечно, зря он гильзу с завода унес, потому что на фронте каждый патрон на счету, а одним патроном не только простого фрица, генерала можно убить и даже двух, если, конечно, они один за другим стоят. Так вот, как-то вышло, что эта самая гильза у Азиза осталась, и хотя брат строго-настрого приказал никому ее не показывать, даже Гульноре, он все же не удержался, похвастал перед ребятами. И вот к какому печальному результату это привело.

— Это все? — спросила Фатима Эргашевна, внимательно выслушав Сабира.

— Не все. Еще кое-что есть.

— Что еще? Говори.

— Сейчас все сдают для фронта теплые вещи. Так ведь?

— Так.

— Мой дедушка даже свой новый чапан хотел сдать, думал, из него маскировочный халат получится, только чапан не взяли. Так вот, все ребята собирают кто что может — перчатки, варежки, ушанки и несут куда положено, а Азиз, знаете, куда носит? На базар!

— Врешь! — закричал Азиз и, не сдержавшись, заплакал.

Класс опять загудел. Кое-как успокоив ребят, Фатима Эргашевна спросила:

— Ты сам это видел?

— Нет, мама слышала. Ей наша соседка, тетя Салия, рассказала, — шмыгнув носом, недовольно ответил Сабир.

— Ну вот, теперь все ясно. Наслушаешься всякого и в класс

несешь... А ты не плачь, Азиз. Я расскажу, как было. Я все знаю... Да, ребята, никто не должен забывать, что идет война. Нужно быть бдительными. В этом Сабир прав. Азиз, конечно, не должен был показывать гильзу, да еще хвалиться, что это его брат сделал. Он сегодня же вернет ее, так, Азиз?

Азиз, не поднимая головы, кивнул в знак согласия.

— Теперь о теплых вещах для фронта, — продолжала Фатима Эргашевна. — Я в курсе дела. Вы, конечно, знаете, что Азиз у нас один из самых активных сборщиков. Его даже в военкомате хвалили, а директор школы благодарность объявил. И не один Азиз — все хорошие люди в этом благородном деле участвуют. Но есть ведь и нечестные, хотя их и очень, очень мало. Вы знаете, живет в нашей махалле на улице Нижней одна женщина, зовут ее Ходжалхон. Нигде она не работает, только торговлей промышляет. Отец ее до революции купцом был, а потом с басмачами удрал за границу. Так вот, эта самая Ходжалхон прикинулась, будто и она фронту помогает, а сама задумала собранные теплые вещи продать. А чтоб не видели, как она их на базар тащит, попросила Азиза помочь ей мешок отнести. Азиз сообразил, в чем тут дело, и этот самый мешок напрямик доставил в махаллинский комитет. Вот какое «предательство» совершил Азиз...

Никогда еще ребята так внимательно не слушали Фатиму Эргашевну. Когда она кончила, все вопросительно уставились на Сабир: что он еще скажет? Сабир сидел красный, как рак, не зная, куда деваться от стыда.

— Ну так как, согласны, чтоб капитан Исмаилов Азизу галстук повязал? — весело спросил Джура.

Класс дружно захлопал в ладоши. Вместе со всеми хлопал и Сабир.



СЫН БОЙЦА

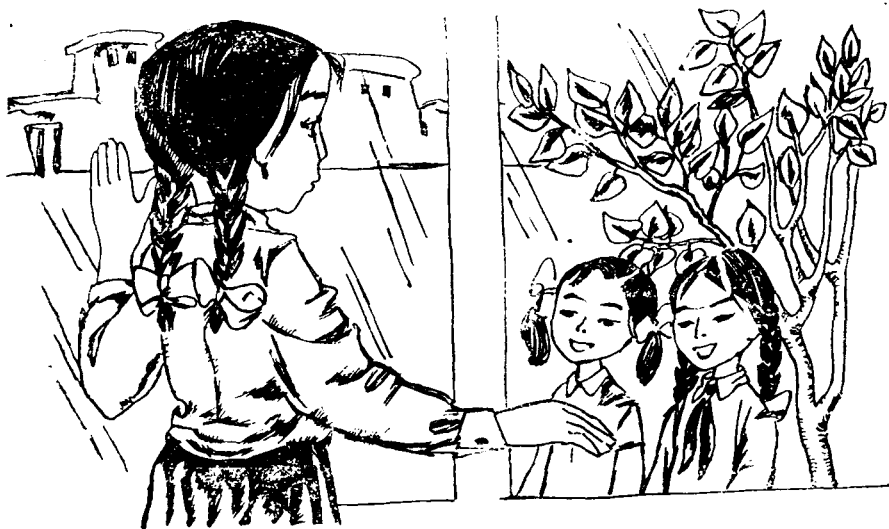
Немногим больше годика было моему братишке Кадырджану, когда наш отец добровольцем ушел на фронт, а сейчас он уже начал ходить. Очень забавно смотреть, как малыш, сосредоточившись, словно готовясь к чему-то очень важному, делает первый неуверенный шаг, потом еще несколько и... падает. Однако не плачет. Встанет, сопя, на четвереньки, потом во весь рост и опять за свое. Настойчивый мальчонка растет. А говорить пока не умеет — так, несколько слов: «ма-ма», «вав-вав». Да, забыла, еще одно слово он выговаривает — «гол». Это он так свой резиновый мячик называет. Разговаривать, можно сказать, еще совсем не умеет, но все понимает. Когда мама говорит, что надо, мол, Кадырджану штанишки сшить или еще что, он ушки наострит и смотрит так внимательно. Соображает, значит, что о нем разговор идет. А если ему чего-нибудь надо, напружинится весь, ручонками машет и кричит: «ддай-ддай». Я все понимаю, что он хочет сказать. И мама понимает. Только бабушка иногда скажет: «Ты не руками, языком говори, надоело мне твои жесты разгадывать». Но это она так, от доброты. Нисколько ей не надоело. Наоборот, рада радешенька, что у нее такой славный внучек растет.

Интересная недавно история произошла. Мою я в кухне посуду. А Кадырджан увидел меня с веранды и бежит, руки

растопырив, будто обнять хочет. Пробежал несколько шагов и упал. Ушибся, видать, здорово, но молча поднялся и все-таки добежал. Схватил меня за фартук, тянет и рукой на дверь показывает. Пошла я за ним в коридор, а там телефон звонит-надывается. Подняла я трубку, говорю, а он фартук из ручонки не выпускает, серьезно так глядит на меня своими глазами-пуговками. «Ну вот, — говорю, — тетя Дильбар тебе привет передала». Малыш заулыбался, выпустил фартук и давай лопотать: «гол-гол». Дала ему мяч и стала посуду домывать. Через несколько минут он опять топает и снова к телефону тащит. Говорю я с Рахимой, подружкой своей, а он, смотрю, хмурый-хмурый вот-вот разревется. В чем дело — в толк не возьму. Вообще, я заметила, в последние дни он все время около телефона вертится. Раньше такого за ним не водилось. Зазвонит, бывало, телефон, а ему и дела нет. А теперь что же произошло? Никак не пойму.

Начало смеркаться. С минуты на минуту должна вернуться с завода мама. Я стала накрывать на стол. Ужина, в общем-то, не предвиделось — так, морковный чай с кукурузными лепешками, а все равно стол должен быть накрыт, как положено, как до войны. Только расставила посуду, опять Кадырджан вразвалочку бежит, к телефону зовет. Подхожу. Тихо, звонка не слышно. А он все равно ручонку тянет, на трубку показывает. В чем дело? — думаю. И тут он вдруг обеими руками обхватил аппарат и отчетливо так говорит: «пап-па, пап-па». Это он впервые «папа» сказал. А тут и мама подросла. Рассказываю я ей, что произошло, а она схватила Кадырджана в охапку, целует, а сама плачет. «Скоро, — говорит, — скоро отец вернется. Всех фашистов разгромит и вернется».

Подумайте, такая кроха, отца толком и не видел, а скучает. А мне-то каково? Но ничего, креплюсь, потому что понимаю: так надо.



ПЕРВОЕ ПИСЬМО

— Гульбахор, а Гульбахор! — послышалось за окном.

От неожиданности я даже выронила ручку. Кто бы это мог быть! Неужели Рано? И голос точь-в-точь ее... Как здорово! А я только-только села писать ей первое письмо, да не знала с чего начать. Но почему же она не заходит? «Раносечка, заходи!» — хотела было крикнуть я, но, сама не знаю почему, не крикнула, а стремглав кинулась к окну, отдернула занавеску и... обомлела. У полисадника стояли две девочки. «Сейчас!» — сказала я и побежала отворять калитку. Бегу и думаю: «Хорошо еще, что не успела «Раносечка, заходи!» крикнуть. Вот смеху было бы».

Открыла я калитку, пригласила девочек в дом, а одна из них говорит:

— Ничего, что мы пришли? Не помешаем?

— Что вы, — говорю, — заходите, а то мне скучно одной.

А они не заходят, стоят, с ноги на ногу переминаются да друг на дружку вопросительно поглядывают: зайдем, мол? Потом та, что ростом чуть пониже, протянула руку и говорит:

— Давай знакомиться. Меня зовут Лолахон.

— А меня — Мукаррам, — сказала вторая.

А я стою и думаю: сказать или не сказать им свое имя? Потом решила: не стоит. Раз они сами меня по имени кликнули,

стало быть, знают, как меня зовут. Зачем же еще раз повторять?

Очень мне понравились девочки, особенно Мукаррам. Еще утром, когда учительница привела меня в класс, я ее заметила. И знаете — почему? Удивительно, до чего же она похожа на закадычную подружку мою Ранохон! И рост, и цвет лица, и глаза — все похоже. Даже брови — черные, густые, вразлет. И голос такой же. Это, должно быть, она меня с улицы кликнула. Только на щеке у нее, справа, маленькая родинка и волосы по-другому причесаны, а так — вылитая Рано. Бывает же такое!

А вот вторую, Лолахон, я никак не могла припомнить. И ничего в этом нет удивительного. Доводилось вам когда-нибудь переходить в другую школу, где все-все новое? Не доводилось? То-то же, а мне вот пришлось. Привела меня учительница в класс, поставила перед ребятами и давай обо мне рассказывать. Стою ни жива ни мертва, в жар и холод меня бросает и еле слышу, будто издалека, голос учительницы:

— Познакомьтесь, ребята, это ваша новая одноклассница — Гульбахор Пулатова. Раньше ее отец работал в городе, на машиностроительном заводе, а недавно его назначили главным инженером нашего совхоза. Пока семья готовилась да переезжала, Гульбахор не ходила в школу, целых четыре дня пропустила. Так что, я надеюсь, вы поможете ей наверстать упущенное.

Ребята наперебой зашумели: «Будет сделано, Хадича Алиевна, не сомневайтесь, поможем!» Хадича Алиевна усадила меня за парту и начала урок. Должно быть, она рассказывала о чем-то интересном, потому что все слушали очень внимательно, только я никак не могла сосредоточиться. И не только из-за того, что все мне здесь было непривычно, но и потому, что ребята нет-нет, да и поглядывали исподтишка в мою сторону. Словом, очень неважно я себя чувствовала. Наверно, и вам на моем месте было бы не лучше. Так что не удивляйтесь, что я Лолахон не узнала. Да и вообще, разве всех с первого раза запомнишь?

Так вот, стала я приглашать девочек в дом, а они не идут. «Мы, — говорят, — только так, на минуту. Мы не хотим тебе мешать. Ты ведь письмо пишешь?»

«Ну и чудеса, — удивилась я про себя, — откуда им известно, что я письмо пишу?»

С тех пор, как пошла в школу, я уроки вслух учу. Иной раз стану читать, какое-нибудь слово не так прочту, а мама из соседней комнаты или из кухни меня поправляет. Сперва я в толк не могла взять, откуда ей известно, что я читаю, а потом сообразила: это я так громко слова выговариваю, что по всей кварти-

ре слышно. Может быть, и сейчас, сев за письмо, я по привычке вслух говорила?

— Нет, — ответила я девочкам, — еще не пишу. Только собираюсь. А кто вам сказал?

Они засмеялись.

— Знаем, и все.

— А все-таки... Интересно же.

— Скажем? — Мукаррам стрельнула взглядом в подружку и, не дожидаясь ее согласия, продолжала: — Мы только что в сельсовете были. Моя сестра там секретарем работает. Заходим, а она с какой-то тетенькой разговаривает. Увидела меня и сразу: «Знакомьтесь, знакомьтесь, — говорит, — моя сестренка». Ну я, конечно, назвала свое имя, и Лолахон тоже сказала. А потом сестра сказала нам, кто эта тетенька. Знаешь, кто она? Она... твоя... мама, Мастура-апа! — торжественно выговаривая каждое слово, сказала Мукаррам и засмеялась, довольная. И Лолахон засмеялась.

— Неужели?

— Конечно. Чего бы это мы стали выдумывать!? Потом знаешь как интересно было! Мы рассказали, что ты сегодня к нам, в четвертый «В», пришла и мы идем тебя проведать, чтобы тебе скучно не было. А Мастура-апа: «Идите, идите, — говорит, — она подружке письмо собиралась писать. Должно быть, уже написала». Знаешь, Гульбахор, твою маму заведующей совхозной библиотекой хотят назначить. Вот было бы здорово! Мы бы все новые книги самыми первыми читали. Библиотека у нас большая, книг много. Только успевай читать.

— Большая-то большая, — говорю я, — только книги в первую очередь совхозным работникам надо давать. А для нас школьная библиотека есть.

— А что толку-то? Книг в ней мало, и те давным давно читаны-перечитаны, — скривила губы Мукаррам, недовольная, видимо, моим ответом.

Я хотела было рассказать, что мама и в городе в большой библиотеке работала, но раздумала. Еще, чего доброго, скажут, что я свою мать расхваливаю.

Мы еще немного поговорили у калитки, а потом я все же уговорила их войти в дом.

Да, я вот что еще забыла рассказать. В тот день, когда мы сюда переехали, пришел к нам какой-то дяденька. Обошел весь дом, в кухню, в ванную заглянул и спрашивает маму: «Ну как, нравится вам новое жилье?» Мама, конечно, поблагодарила, сказала, что нравится, а он руку мне на плечо положил и говорит: «Теперь надо дочери рабочее место определить. Учиться — это тоже работа, еще и какая важная». Мама сказала, что мне

в большой комнате угол отведут, стол, стул, книжную полку и все, что нужно, поставят. Он улыбнулся и, попрощавшись с нами за руку, ушел. И кто, вы думаете, это был? Сам директор совхоза. Очень он нам с мамой понравился.

Так вот, девчонки тоже, как только вошли, сразу же побежали дом осматривать. Все комнаты обошли, и все им понравилось. А Лолахон спрашивает:

— А уроки ты где будешь готовить?

Я им показала угол, что мне отвели.

— Только, — говорю, — его еще в порядок привести нужно.

— Это ерунда! — Мукаррам даже вскочила со стула. — Если хочешь, мы вдвоем в два счета все, что нужно, сделаем.

Не успела я сказать: «Да что вы, мол, я уж сама», как девочки принялись за дело. Лолахон взялась обвертывать книги, а Мукаррам стала их раскладывать по порядку. Ну и я, конечно, без работы не сидела. Вот ведь как здорово все получилось. А я-то не хотела сюда переезжать. Когда отец недавно пришел с завода и сказал: «Ну, хватит, пожили в городе, теперь в кишлаке проживем», я даже разревелась. «Не нужен мне ваш кишлак, куда я отсюда не уеду! У меня все друзья здесь! Рано здесь!» Зря, выходит, я редела. А Мукаррам, Лолахон — чем не подружки! Поняли ведь, что я могла и сама свой угол в порядок привести, только некогда мне было, маме помогала новую квартиру убирать.

Хлопнула калитка. Это вернулась мама. Увидев девочек, она обрадовалась, стала расспрашивать о житье-бытье, о школьных делах. А когда мы все прошли в кухню, она поставила на плиту чайник, посмотрев при этом на меня так, словно хотела сказать: «Что же это ты, доченька, так оплошала, даже чаем гостей не напоила».

То ли потому, что девочки застеснялись, то ли еще по какой причине, но стали они собираться уходить. «Ты, — говорят, — пиши письмо, а мы пойдем». «Куда, — говорю, — вы торопитесь? Уроков сегодня мало задали, успеете. Оставайтесь, скоро папа придет, вместе пообедаем. Правда, мам?» И мама стала их уговаривать, а они ни в какую — «У нас дело есть».

— Какое, — спрашиваю, — дело?

— Нам хлопок собирать нужно.

— Где собирать? Неужели прямо в поле? Я еще никогда не видела, как его собирают.

— Нет, не в поле, — засмеялась Мукаррам. — У нас есть пионерское поручение: в свободное время на дороге оброненный хлопок подбирать. Мы бы и тебя с собой взяли, да тебе ведь письмо писать надо.

— Ой, девочки, — говорю, — возьмите меня, письмо я

вечером напишу. — А сама смотрю на маму: что она скажет?

Мама поняла, что очень уж мне хочется пойти с новыми подружками.

— Иди, — говорит, — хсршее это дело.

Вышли мы втроем на широкую асфальтированную дорогу. А машины по ней одна за другой, одна за другой мчат, и все доверху груженные белоснежным хлопком — на заготпункт едут. Я и не думала, что в одну машину столько хлопка может поместиться. Вот бы наши городские ребята удивились, если б увидели.

А дорога, скажу я вам, красивая-красивая. Таких я тоже в городе не видела. По обе стороны тополя зеленой стеной стоят, а за ними бескрайние поля, и по полям медленно (это мне сперва так показалось) хлопкоуборочные машины движутся. Я как увидела их, перепрыгнула через арык и бежать. Мчусь, сухие веточки хлопчатника ноги царапают, за платье цепляются, а мне хоть бы что. «Ты куда?» — крикнула мне вслед Лолоaxon. «Машины смотреть! Бегите и вы!» Смотрю, девчонки и впрямь следом бегут. Это ж надо! Они здесь выросли, машин разных видели-перевидели, а вот ведь за мной побежали. Это, значит, чтобы меня одну не оставлять.

Прибежали мы, смотрим: пять машин поле бороздят. В один конец проедут, вернутся и из большой сетчатой коробки — бункер называется — хлопок на площадку вываливают. Много его в этот бункер помещается!

«Вот здорово, — подумала я, — что отца сюда перевели! Теперь я все-все узнаю — и про хлопок, и про машины, которыми дашут, сеют и урожай собирают. Много их здесь, и папа над ними главный».

Долго я так стояла, машинами любовалась. И девочки все это время со мной были, рассказывали про машины, да почему на них пятиконечные звездочки нарисованы и металлические флажки прикреплены, да как водителей зовут. Между прочим, на всех машинах работали девушки, и они здоровались с моими новыми подружками как старые знакомые. А Мукаррам сказала, что она, когда вырастет, тоже станет механиком-водителем хлопкоуборочной машины.

Вдоволь насмотревшись, мы вернулись на дорогу и медленно пошли в сторону заготпункта, внимательно глядя, нет ли где оброненного хлопка. Я первая увидела пушистый белый комочек и стремглав бросилась к нему. А девчонки смеются, заливаются — им это не в диковинку. Подняла я комочек, а он с одной стороны пылью припорошен и кусочек глины к нему прилип. Пыль-то я сдула, глину оторвала, а он все равно грязный. Я бы-

ло побежала к арыку, чтобы его вымать, да Лолахон меня вовремя за руку схватила.

— Ты что? Разве можно? Он же мокрый будет. Это ничего, что он сейчас не очень чистый. Грязь все равно в пыль рассыплется, а что останется — на заводе очистят, там для этого специальные машины есть.

Тут мимо нас большая-большая машина промчалась — автопоезд называется — и ветром с нее, с самого верха, добрую пригоршню хлопка сдуло. И так мне захотелось его на лету поймать, чтоб он опять в грязь не угодил, что я следом побежала. Только зря я тревожилась, он на чистый асфальт упал.

Пока мы дошли до заготпункта, я набрала три горсти оброченного хлопка и сложила в специальный ящичек, приколоченный к телеграфному столбу. И так увлеклась, что на вопросы подружек о ташкентских театрах, музеях, о школе, где я раньше училась, толком не ответила. «Ничего, — сказала я девочкам, — я вам потом все-все расскажу, а сейчас работать надо».

Трижды прошли мы от заготпункта до сельсовета — это, оказывается, вожатая девочкам такой участок отвела — и по домам.

— Как вы думаете, — спросила я, — килограмма два я собрала?

— Что ты, — засмеялась Мукаррам, — полкило, и то...

— Как это — полкило, его же так много было!

— Ну да, много, — подхватила Лолахон, — это тебе так показалось с непривычки. Хлопок — он легкий, одна коробочка всего-то 4—5 граммов весит.

«Ну и пусть полкилограмма, — решила я про себя, — все равно лучше, чем ему в пыли валяться».

Дойдя до нашей калитки, мы договорились утром вместе в школу идти, а я побежала домой, очень уж не терпелось поскорей маме обо всем рассказать.

— Мам, — закричала я с порога, — я полкилограмма хлопка собрала, ты только подумай — целых пятьсот граммов!

— Молодчина, доченька, это ты хорошо сделала, — похвалила меня мама, — а уроки как, готовы?

— Нет еще, но ты не беспокойся, нам мало задали, я мигом. И письмо успею написать. Можно, я про все, что было, и про хлопок тоже, напишу?

— Что ж, пиши, Рано это будет интересно.

Сделав домашнее задание, я села за письмо. Чудно: со вчерашнего дня я ломала голову — о чем писать, а тут столько всего набезало! И опять заковыка: с чего начать? С того ли, как мы сюда ехали и как нам все помогали устраиваться? Или, может быть, сперва про школу и новых подружек написать? И

знаете, с чего я начала? С того, как первый раз в жизни хлопок собирала и теперь среди миллионов тонн «белого золота» есть и мои пятьсот граммов.

Обо всем, что я вам рассказала, написала я в первом своем письме. Большое письмо получилось.

Долго не могла я заснуть в тот вечер и, уже засыпая, думала: «Скорей бы промчалась эта ночь и наступило завтра».

...Теперь по утрам, когда я, торопясь и обжигаясь горячим чаем, завтракаю, с улицы доносятся такие знакомые, будто всю жизнь их слышала, голоса:

— Гульбахор, а Гульбахор!





«БЕЛОЕ ЗОЛОТО»

Очень хороша собой Дильфуза. А повяжет белой капроновой лентой густые кудрявые черные как смоль волосы — и вовсе глаз не отвести. Когда идет она по улице, прохожие останавливаются и провожают ее добрым взглядом. Только и слышно вокруг: «Прелесть, что за девчущка!», «Ни дать, ни взять — живая кукла...» А она, как услышит таксе, покраснеет вся и от этого еще красивей становится.

Однажды в детский сад пришла старушка, славная такая, в большом кисейном платке. Увидев ее, воспитательница поспешила навстречу, обняла, усадила на стул, начала о здоровье да о жите-бытье спрашивать. И ребятишки тоже окружили, наперебой стали здороваться. Некоторые даже по два раза поздороваться ухитрились. Очень обрадовалась старушка.

А потом воспитательница начала рассказывать ей про каждого: как зовут, да кто родные. Старушка внимательно слушала, кивала головой, будто подтверждая, что все, о чем говорила воспитательница, правильно. Когда подошел черед Дильфузы, она переспросила:

— Постой, постой... Назиркула, говоришь? Это того, что гузапаей на базаре торговал? Как же, помню, очень даже хорошо помню. Мы еще с его женой дружили... Так, стало быть, это внучка Назиркула?

— Правнучка.

— Вон оно что... Смотри-ка, славная какая, словно бутончик. Она усадила Дильфузу рядом с собой и стала рассказывать:

— Прадедушка твой, Назиркул, известный человек был, весь город гузапаей снабжал. Вы ведь теперь и слова-то тако-го — гузапая — не знаете, дома-то газ у всех. Это топливо такое, стебли хлопчатника. Когда хлопок соберут, они остаются. Потом их корчуют, сушат и всю зиму жгут — греются, пищу готовят. Да что там зиму, до нового урожая жгли. Так вот, прадед твой эту самую гузапаю из кишлаков на потребу людям и привозил. А уж сын его, Амиркул, это занятие бросил и в кишлак Еттысай подался — хлопок сеять. Сперва сам уехал, а потом и семью к себе перевез. А когда колхоз организовался, народ его председателем выбрал. Большие урожаи выращивал. Вот ведь какое дело.

Старушка замолчала, призадумалась, будто вспоминая что-то, потом опять обратилась к Дильфузе:

— Ну, а отец-то твой, кажется, учителем стал?

Дильфуза смутилась и ничего не ответила.

— Ученым, — поправила старушку воспитательница. — В институте преподает. Он тоже специалист по хлопку. И студентов учит, и новые сорта хлопчатника выводит. Очень известный ученый Дильфузин папа.

Старушка покачала головой.

— Вот ведь как бежит время. Уже и внук Назиркула, вчерашний босоногий мальчишка, большим человеком стал. А они кем же станут? — она обвела взглядом детвору.

— Я киноартисткой буду, — выпалила вдруг Дильфуза.

— Ну что ж, пусть сбудется твое желание, — засмеялась старушка и, вставая со стула, обратилась к воспитательнице: — Я, пожалуй, пойду. Я ведь только затем и приходила, чтобы сказать, что Эркинджан, правнучек мой, сегодня в садик не придет. Приболел он немного. Так что вы не беспокойтесь. До свидания, голубушка.

Весь день ходила Дильфуза под впечатлением от встречи со старушкой и от всего, что услышала. Как много она сегодня узнала и как хотелось ей все это запомнить. И потому в тихий час, уже лежа в постели, она еще долго ворочалась с боку на бок, бормоча: «Гузапая... Еттысай... хлопчатник...»

В день рождения, когда Дильфузе исполнилось шесть лет, она сказала родителям:

— Все. Вы меня теперь за руку, как других детей, в садик не водите. Сама буду ходить. Взрослая уже.

Родители посмеялись, но перечить не стали: сама так сама, и впрямь не маленькая.

Вечером, когда Дильфуза вернулась домой, мама — тетьа Матлюба — сразу заметила, что дочь чем-то возбуждена, но вида не подала, только как бы невзначай спросила:

— Что ж ты, доченька, даже не поздоровалась!

— Ассалому алейкум, мамочка, — ответила Дильфуза и, ничего больше не говоря, проскользнула в свою комнату.

«Что бы это могло значить? — думала тетьа Матлюба. — Не такой она обычно возвращается из садика».

А немного погодя, когда они сели есть арбуз, все и открылось. Дильфуза сама обо всем рассказала. И о том, какая хорошая старушка сегодня в садик приходила, и о том, как она интересно про дедушку и прадедушку говорила. А под конец Дильфуза надула губы и, притворившись обиженной, сказала:

— Вот видите, сколько нового я сегодня узнала! А почему вы с папой мне об этом не рассказывали?

— Расскажу, доченька, все расскажу. Вижу, что уже можно с тобой, как со взрослой, говорить. Ну, слушай.

Бабушка, что в садик к вам приходила, Салия-биби, самый старый и почитаемый в нашей махалле человек. Девяносто восемь лет ей недавно исполнилось. И она сама, и вся ее родня, и наши предки веками жили в этой махалле. Прадед твой, Назиркул, крестьянствовал — хлопок выращивал, а зимой гузапаю продавал. Семья-то большая была, вот он и старался, из кожи лез, чтоб хоть как-нибудь прокормить. Сын его, Амиркул — дедушка твой — по стопам отца пошел. Замечательный, говорят, хлопкороб был. Сам колхоз организовал и первым его председателем стал. Геройский был человек. Недаром тот колхоз его именем назвали. Очень много учеников он воспитал — агрономов, механизаторов, поливальщиков. Целые горы хлопка выращивают эти люди. И хлопок этот у нас в народе «белым золотом» величают.

— Вспомнила, вспомнила! — обрадованно закричала Дильфуза. — На мой день рождения вы с папой конфеты покупали — «Белое золото» называются. У меня и бумажки от них есть, сейчас принесу.

— Погоди, дослушай до конца, — остановила ее тетьа Матлюба. — Отец твой тоже хлопком занимается. Он селекционер — новые сорта выводит. И еще он в институте преподает, будущих агрономов учит. В прошлом году он за свой труд премию получил, а сейчас над новым сортом работает.

— А зачем? — спросила Дильфуза.

— Чтобы хлопок лучше был, и урожаи чтоб росли. Чтоб удобней было его собирать.

— А потом?

— Потом? — засмеялась тетя Матлюба. — Потом будет много хлопка и белоснежные горы вырастут до самого неба. Тогда люди заживут еще лучше, всего у них будет вдоволь, и конфет «Белое золото» — тоже.





ЗУХРА И САБИРДЖАН

Ну и болтушка наша Зухра! Говорит, говорит — никак не наговорится. А иной раз так затараторит, что у самой язык заплетается, слов не находит. И к тому же «р» не выговаривает. Когда старший брат, Сабирджан, в армию уезжал, она ему вслед знаете что кричала? «Возвращайся посколей!» Вот смехуто было. Правда, мама, тетя Джамал, поправила ее, сказала, как нужно правильно говорить, да что толку-то.

Через два месяца пришло письмо от Сабирджана и фотокарточка. Он был снят в военной форме, с погонами, а на голове фуражка с блестящим козырьком. Красивый! И так понравилась Зухре фотокарточка, что она из рук ее не выпускала. Даже когда соседи, прослышав, что весточка от Сабирджана прибыла, попросили посмотреть, она только издали показала, а в руки не дала.

Когда гости ушли, Зухра положила карточку на стол и давай мать расспрашивать. Ткнет пальцем в звездочку на фуражке: «Что это?» Потом — в погон. «А это что?» Даже про пуговицы на кителе и то спросила. Совсем заморочила матери голову. А потом схватила карточку и во двор — перед друзьями хвастать: вот, мол, какой у меня брат. И когда во дворе не осталось никого, кто бы не посмотрел фото, она вернулась домой и опять к матери с вопросом:

— Мам, а какие у Сабилджана ботинки?

Тут уж тетя Джамал не удержалась. Села на стул и давай смеяться. Брат по пояс сфотографирован, а она про ботинки спрашивает. Не смешно разве?

Словом, фотокарточка стала для Зухры самым важным и радостным событием. Даже ложась спать, она клала ее под подушку. И так к ней привыкла, что стала с Сабирджаном, как с живым, разговаривать, рассказывать про все свои дела, про то, как все ребята ей завидуют, потому что у нее такой замечательный брат, а малыш Рустам, которого старшие мальчишки обижают, даже сказал, увидев карточку: «Вот бы мне такого брата, я бы тогда никого не боялся».

А однажды, когда тетя Джамал с Зухрой отправились проведать родственников, в трамвае произошла забавная история. Увидев рядом с собой военного, Зухра как закричит на весь вагон: «Мам, мам, посмотрите-ка, Сабилджан!» Тете Джамал даже неловко стало. «Что ты, — говорит, — разве можно так шуметь, не Сабирджан это». А Зухра все не унимается: «Нет Сабилджан! Видите, у него и фулажка и погоны, и пуговицы блестящие». «Да уймись ты наконец, — рассердилась тетя Джамал и, чтобы утихомирить расшумевшуюся дочь, добавила: — Это товарищ Сабирджана».

С тех пор стоило Зухре увидеть человека в военной форме, она со всех ног бросалась к нему с вопросом: «Дядь, а дядь, вы товарищ Сабилджана? А когда он пледует?»

Через месяц Сабирджан прислал новую фотокарточку, а потом еще и еще одну. Не нарадуется Зухра. «Смотрите, — говорит, — какой красивый наш Сабирджан». Да и сама она подросла, и «р» хорошо выговаривает. И то сказать: через год в школу пойдет. Недавно, когда почтальон телеграмму принес, она прямо так и сказала: «р-рахмат», а ведь еще недавно «лахмат» говорила. А в телеграмме той было написано, что Сабирджан через три дня приедет, уже насовсем. Зухра от радости даже запрыгала. Назавтра в детском саду только и разговора было о том, что брат приезжает и как Зухра его с цветами будет встречать. Да и не одна она радовалась. И родители, и соседи — все готовились получше встретить Сабирджана. Наконец наступил долгожданный день. Все родные, друзья собрались на вокзале. И как только Сабирджан вышел из вагона, Зухра бросилась к нему с букетом цветов, повисла на шее, да так до самого дома и не отпускала. То лицо погладит, то погоны потрогает. А потом сняла с него фуражку со звездочкой и себе на голову напялила. Вот потеха была! Фуражка-то большая, а голова у Зухры маленькая, она в ней и потонула.

Когда пришли домой, Сабирджан открыл чемодан и стал всех одаривать. Зухре достался самый красивый подарок. Знае-

те, какой? Спутник, — точь-в-точь, как тот, самый первый. Маленький, но красивый-красивый. Зухра сразу же помчалась друзьям показывать. И долго еще со двора слышался ее звонкий голосок: «Сабирджан приехал, Сабирджан приехал! Скоро все солдаты приедут!» Очень уж ей хотелось, чтобы поскорей вернулись из армии все братья и привезли ребятам маленькие спутнички, такие же, какой привез ей Сабирджан.





ЛАББАЙ

Огромная радость у Зульфийи. Сегодня ее приняли в октябрюта. И к парадному фартучку новенькую красную звездочку прикололи. Идет она из школы домой и то и дело глазом на звездочку косит, не налюбуется. И встречные, глядя на нее, улыбаются, такая она ладная и так к лицу ей эта пятиконечная рубиновая звездочка.

Запыхавшись, прибежала она домой и прямо с порога — к бабушке:

— Бабуля, а, бабуль... я теперь октябренок... вот, звездочка. Знаете, какая это звездочка? Сейчас я вам объясню. Помните, по телевизору космонавтов показывали, и в газетах тоже... У них на фуражках такие... Потом на красных знаменах звезда нарисована... И на орденах они есть. Их героям дают. А еще на Кремле большая звезда горит. Она всему миру светит. Честное октябрютское, нам учительница говорила. Так вот, моя звездочка тоже такая. Видите, тут и Ленин есть, только маленький, как октябренок.

Она говорила торопясь, едва успевая перевести дыхание, словно боялась, что бабушка ее остановит и тогда она не успеет рассказать обо всем, что переполняло ее счастьем — и о том, как красиво и празднично было сегодня в школе, и какие хоро-

шие слова говорили им старшие ребята и учительница Кундуз Хикматовна — самая хорошая учительница на свете.

Бабушка внимательно выслушала Зульфию, погладила рукой звездочку, а потом, будто невзначай, спросила:

— А какие они, октябрята-то, особенные, что ли?

— Они... они... октябрята — отличные ребята, — выпалила Зульфия, — у них свои правила есть... пять правил.

— Интересно, что это за правила?

— Октябрята говорят только правду. Они хорошие товарищи. Умеют петь и плясать... Еще октябрята любят трудиться. А когда они вырастают, их принимают в пионеры...

— И это все? — спросила бабушка.

— А, вспомнила, — обрадовалась Зульфия. — Октябрята хорошо учатся, любят школу, уважают старших...

— Вот так молодчина! Знаешь, стало быть, октябрятские правила. А сама-то ты считаешь старших?

Такого оборота Зульфия не ожидала.

— А я... я же всегда старших слушаюсь... И вас, и папу, и маму. И Акрама тоже, он пионер, значит, старший.

— Что верно, то верно: девочка ты послушная. Только как ты отвечаешь старшим, когда тебя зовут? Вспомни-ка! Тебя зовут: «Зульфия» а ты в ответ: «Че-е-го?» Разве дело это?

Зульфия растерялась. Она-то думала, что выполняет все октябрятские правила, а тут, выходит, зря ей звездочку прикололи, да еще при всем классе.

Бабушка, видя, что внучка готова заплакать, стала ей объяснять:

— У всех народов заведено уважать людей. Только обычаи у всех разные. У нас, у узбеков, когда кого-нибудь позовут или окликнут, принято отвечать «лаббай». Значит, уважаешь ты человека и готова выполнить его поручение или просьбу. Вот когда ты привыкнешь так отвечать, я скажу: «Замечательная у меня внучка, настоящий октябренок». И еще знаешь что, отвечай так не только старшим, а всем, кто к тебе обратится.

— Ладно, бабушка, я теперь всегда буду говорить «лаббай», — обрадовалась Зульфия, — всем, всем.

— Ну и хорошо. А сейчас быстренько переоденься, помой руки и — за стол, проголодалась небось.

Пообедав, Зульфия собралась во двор, поиграть, но тут зазвонил телефон. Схватив трубку, она спросила:

— Вам кого? — и... осеклась, прикусила губу. Вспомнила, значит, свое обещание.

— Зульфия! — позвала ее бабушка.

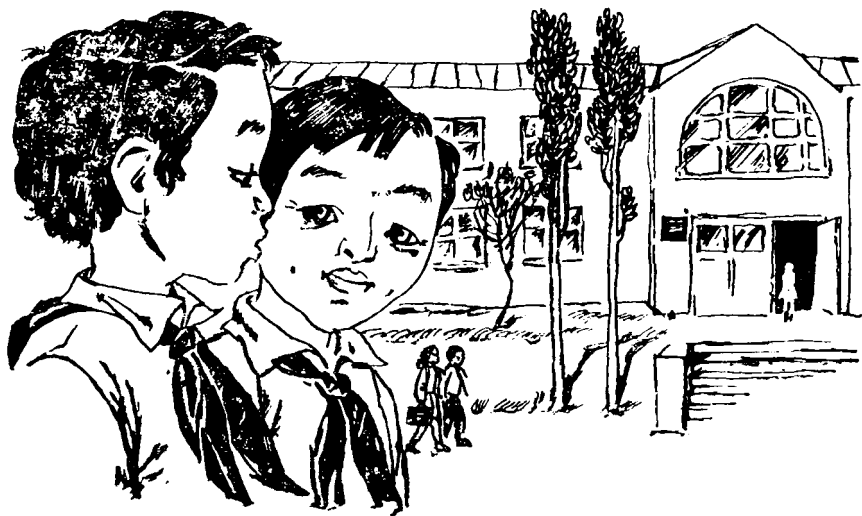
— Лаббай, бабуля! — Зульфия от удовольствия даже засмеялась, так ловко это у нее получилось.

— Кто это там?

— Мальчишки, Акрама спрашивали. Я пойду, бабуль, с девочками поиграю. — И, не дожидаясь ответа, выбежала во двор.

А бабушка, улыбаясь, смотрела ей вслед и глаза у нее были добрые-предобрые.





ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

Светает. На небе ни облачка. Только горизонт будто подернут пыльной пеленой. Но вот взойдет солнце, умоет все вокруг своими лучами и тогда так красиво станет, что глаз не отвести. А пока...

— Фахритдин, а, Фахритдин, вставай...

Фахритдин, словно только и ждал этой команды, открыл глаза и, вскочив с постели, усталился на Насибу.

— Эх ты, все дело испортила.

— Вставай, вставай, нечего разлеживаться. Сам-то меня вчера как будил? Не помнишь? То-то же. Одеяло с меня сорвал, вот как!

— Одеяло, одеяло... — передразнил Фахритдин сестренку, — попозже не могла разбудить? Такой сон из-за тебя не досмотрел.

Он нехотя стал натягивать носки, пытаюсь представить, чем бы закончился сон, если бы не помешала Насиба, но так ничего и не придумал.

А Насиба уже тормозила его.

— Какой сон, а? Ну расскажи, — канючила она.

Фахритдин хотел было в сердцах дать сестре подзатыльник, но раздумал. Да и что толку, девчонка и есть девчонка, любопытство раньше ее родилось.

— Я уже в поезд садился, — сказал он.

— В поезд? — удивилась Насиба. — Вот здорово! — Она живо представила себе, как Фахритдин уезжает далеко-далеко, а она его на вокзале провожает.

— Счастливей, — вздохнула она. — И почему это мне такие интересные сны не снятся? Я даже те, что вижу, не могу запомнить. Ну скажи, почему?

— А я откуда знаю?

Они вышли во двор. Свежий утренний ветерок ласково ударил в грудь, в лицо и умчался, унося с собой остатки сна.

— На зарядку становись! — скомандовал Фахритдин, будто перед ним была не одна Насиба, а целый пионерский отряд. — Делай, как я! Раз, два, три...

Расставив ноги на ширину плеч, он поднял руки и вздохнул полной грудью, с наслаждением ощутив бодрящую свежесть воздуха: дыши — не надышишься. Продолжая делать упражнения, Фахритдин вдруг вспомнил сказанные кем-то слова: «Уж слышится дыхание весны...» Только кто так сказал? Или, может быть, он это в книге прочел? Лишь за завтраком он, наконец, вспомнил.

...В прошлом году весна, как и нынче, нагрянула рано. Дни стояли погожие, всюю светило солнце, небо было чистое-пречистое и только таявшие на глазах небольшие островки снега напоминали о том, что еще недавно здесь властвовала зима. На первом уроке учительница открыла оконную створку и в класс ворвался озорной ветерок.

— Ну вот, ребята, — сказала она, — уж слышится дыхание весны. В этом году вы впервые будете сдавать экзамены. Сейчас уже третья четверть, и мой вам совет: не откладывая в долгий ящик, начинайте готовиться, не то потом поздно будет.

Фахритдин от неожиданности оторопел. Как это — экзамены? А он ничего об этом не знал. А может быть и знал, да забыл: мало ли есть дел поважнее?

К экзаменам, он, конечно, подготовился и в следующий класс, как всегда, перешел отличником, и вот сейчас, вспомнив сказанные год тому назад учительницей слова, подумал: «Все, баста, хватит дурака валять. Пора браться за дело. С завтрашнего дня начну повторять пройденное».

С такими-то мыслями отправился Фахритдин в школу. И всю дорогу он думал об удивительном сне, приснившемся ему ночью. Вокзал. Толпы людей... В руках у многих цветы... Отовсюду слышатся музыка, песни, смех... Провожают девушек и парней, уезжающих осваивать целину... И он, Фахритдин, едет с ними... Вот он уже ступил на подножку вагона... И надо же, в этот, может быть, самый главный в его жизни, момент его разбудила Насиба.

— Эх, — с досадой пнул он подвернувшийся под ногу камень — еще бы самую малость...

— Привет, Фахри! — послышался сзади голос Бахтияра. — Пстой, дай отдышаться... Знаешь, я чуть было не опоздал сегодня в школу.

— Это почему же?

— Проспал. И будильник не помог. Здорово я вчера устал.

Фахритдин вспомнил, что старший брат Бахтияра, Фархад, должен был вчера с комсомольским эшеленом уехать на казахстанскую целину.

— Ты что, на вокзал ходил? — спросил он.

— Ну конечно! Вот здорово было! Все пели, плясали, а я стихи читал. Меня никто не просил, я сам, — Бахтияр вздохнул и, немного помолчав, продолжал: — Ты знаешь, я им всем позавидовал. Вот, думаю, если бы и мне пару лет прибавить...

— Пару? — засмеялся Фахритдин. — Так ты же еще не комсомолец.

— Ну и что? Вступил бы. Век, что ли, в пионерах ходить.

— Все равно, пока школу не кончишь, на целину не пустят.

Фахритдин хотел было рассказать приятелю, какой он нынче сон видел, но они уже дошли до школы и, услышав звонок, побежали, чтобы успеть в класс до прихода учителя.

Прошло несколько дней. Звенели звонки на уроки и с уроков, школа жила своей жизнью. Но давайте попробуем заглянуть внутрь, понаблюдать за нашими героями.

Пионерская комната. Все звено Фахритдина собралось здесь после уроков. Повторяют пройденное: скоро экзамены. Один читает учебник истории, другой водит пальцем по строкам и, шевеля губами, учит что-то наизусть, а за последним столом двое ребят шепотом, но, судя по всему, очень горячо, о чем-то спорят, может быть, о новом способе решения задачи или еще о чем.

И председатель совета отряда Бахтияр тоже здесь. Невысокий, круглолицый, он сейчас очень сосредоточен. В руках у него тетрадь. Посмотришь, вроде простой список, имена и фамилии пионеров в нем записаны. Но это только кажется, что простой. Начнешь читать и сразу про всех ребят все и узнаешь: и когда на какой урок опоздал, и какие отметки получил, и про поведение тоже. Много в отряде всяких разговоров про эту тетрадь было, а хохотушка Зумрад, — она книги Льва Кассиля почти наизусть знает, — назвала ее кондуитом. С тех пор все ребята так про тетрадь и говорят — «кондуит».

В начале третьей четверти вот что произошло. Гайрат Василов получил двойку по английскому. Обсуждали-обсуждали его в звене — не помогло, он одну за другой еще две двойки отхватил. Посоветовавшись с Бахтияром, Фахритдин решил схо-

дить к Гайрату домой. И ребята это решение одобрили. Так и сказали: «Правильно, нечего с ним миндальничать. Парень неглупый, а все звено назад тянет. Сходи, Фахритдин, поговори с его родителями». И знаете, что выяснилось? Оказывается, Гайрат каждый раз, уходя из дома, говорил, что идет к товарищу уроки учить, а на самом деле просто-напросто баклуши бил. Рассказал Фахритдин родителям всю правду про его учебу, и назавтра Гайрату, хоть и стыдно ему было ребятам в глаза смотреть, пришлось перед классом прощения просить и слово дать, что все двойки исправит. Он и вправду стал лучше учиться и сейчас классная руководительница его похвалила за старание. И все это тоже у Бахтияра в тетради записано.

Бахтияр еще раз с начала до конца перелистал тетрадь, что-то записал и, подняв голову, еле заметным кивком, чтоб другие ребята не заметили, позвал к себе Фахритдина и молча показал глазами на руку: «Ну-ка, мол, что у тебя там?» А там синими чернилами написано «Фахритдин А.» Это значит, вся фамилия — Абдуллаев — не поместилась, только первая буква. Бахтияр укоризненно посмотрел на приятеля: что ж, мол, ты так, дружище? А еще звеньевой. Только Фахритдин не обиделся. Он тихонько вышел из комнаты и вскоре вернулся, показав Бахтияру чистую руку. Вообще Фахритдин молодчина. Хоть и круглый отличник, а не задается, как другие, и если неправ в чем, старается исправить ошибку. И еще он всегда готов помочь товарищу. Понимает: раз звеньевой, значит, должен быть примером во всем. За это и любят его ребята.

...Два раза подряд оставался на второй год в пятом классе Сабир Юлдашев. И в этом году вторую четверть с двойкой по арифметике закончил. «Не дело это, — решил Фахритдин, — так он и по другим предметам двоек нахватает», — и однажды после уроков спросил Сабир:

— Скажи-ка, почему у тебя с арифметикой не ладится?

Сабир сперва молчал, уставившись в землю, — Фахритдин даже чуть было не засмеялся: ну точь-в-точь, как на уроке перед учителем, — потом еле слышно заговорил:

— Я учу-учу, а все равно задачки у меня не получаются, ответы никак не сходятся.

— Давай вместе уроки готовить. Согласен? — предложил Фахритдин.

Сабир кивнул головой, но всем своим видом он будто говорил: «А что толку-то вместе заниматься? Раз уж не понимаю, ничем тут не поможешь».

На следующий день они после уроков пошли напрямиком к Фахритдину домой. Сперва он заставил Сабир прочесть условие задачи и, когда тот читал, чуть было не воскликнул:

«Да это же проще пареной репы», но вовремя спохватился, как бы товарища не обидеть.

— Ну что, понял? — спросил он.

Сабир отрицательно покачал головой.

— Давай-ка я еще раз прочту, а ты слушай, да повнимательней.

Он громко, с выражением, будто стихи, прочел условие задачи и посмотрел на Сабир.

Тот молчал.

— Вот смотри: что мы прежде всего должны узнать? — спросил Фахритдин.

— Что узнать? Прежде всего... мы должны... мы должны... Н-не знаю я, — чуть не плача ответил Сабир.

— А ты подумай. Ну ладно, первый вопрос я, так и быть, сам скажу. Прежде всего, значит, нам нужно узнать, сколько воды из бочки пролилось. Записал? А что мы теперь должны узнать?

— Теперь?.. — неуверенно переспросил Сабир.

— Постой. Ты начало-то понял? — спросил Фахритдин и стал объяснять, как нужно отвечать на первый вопрос. И когда Сабир, наконец, понял, он перешел к следующему.

— Теперь, значит, мы должны определить, сколько воды осталось в бочке. Верно? Ну-ка, попробуй сам... Так, правильно. Выходит, нам осталось узнать, сколько всего воды было в бочке... Так, молодчина... Давай-ка сверим с ответом. Ну вот, точно. Тридцать ведер.

Пустяковая вроде была задачка, но Фахритдин устал. Он хотел было предложить Сабире выйти на улицу, прогуляться, но тот взял у него задачник и стал самостоятельно решать вторую задачу. «Ух ты, — обрадовался Фахритдин, — заинтересовался, значит». Однако и на этот раз Сабир не смог решить и пришлось опять помогать ему.

С тех пор они стали каждый день вместе уроки готовить. Через некоторое время Сабир получил по арифметике первую тройку. Он, конечно, был очень доволен, но еще больше радовался Фахритдин. Эта тройка была ему дороже собственной пятерки. Еще бы: не зря, значит, старался. И хотя Сабир перестал получать двойки, они продолжали вместе заниматься. И не только по арифметике.

Сегодня Сабир предложил повторять географию. Оказалось, что и другие ребята хотят через фильмоскоп некоторые материалы посмотреть. Интересно же, вроде клуба кинопутешествий получается.

Фахритдин предложил сперва прочесть все, что нужно, по учебнику, а потом уже за фильмоскоп браться. Некоторые сначала запротестовали, но потом все же согласились, потому что

прав Фахритдин, никуда не денешься. Когда нужные параграфы были прочитаны, кто-то опустил черные шторы, включили фильмоскоп и на экране возникла надпись: «Реки». Потом появилось изображение высоких, покрытых снегом гор, а внизу, у подножья их, бурлила река... Пока воды в ней немного, зато летом река переполняется и даже выходит из берегов. Вот горный водопад. Сколько их: Ниагарский, Виктория, еще много других! И какие красивые все! Кто-то даже вздохнул: хорошо бы летом под таким искупаться. А вот Волга. Кто не знает великой русской реки?! Сколько песен про нее сложено, сколько книг написано и фильмов снято!

— Ну как? — спросил Фахритдин, когда шторы были подняты и комнату опять залило ярким солнечным светом.

— Здорово! — зашумели ребята, — хоть сейчас можно экзамены сдавать.

...Весна. Не успеешь оглянуться и наступят каникулы. Чудесная пора! Купайся, загорай, играй, сколько душе угодно. А пока... Пока надо готовиться к экзаменам, да так, чтобы потом не стыдно было сказать: «Учились хорошо и отдыхаем на славу».

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ ХАЯТА САДЫКОВА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ



Очень довольный возвращался сегодня я из школы. А знаете почему? Мы завтра идем на демонстрацию... Ох и ждал я этого дня! Помню, я тогда еще маленький был, отец два раза брал меня с собой. Когда мы шли по площади, мимо памятника Ленину, он сажал меня на плечо. Все-все оттуда было видно, как с вышки. И я тоже махал флажком и хлопал в ладоши. А флажок красивый был, алый, и наверху в углу серп и молот нарисованы. Я тогда впервые увидел, как школьники на демонстрацию ходят. Все в форме, с горнами, барабанами и знаменами. А колонна какая красивая, ровная-ровная, будто начерченная. Ох и позавидовал я им! Вот бы, думал, скорее подрасти и тоже, вместе со всеми, по площади пройти.

И завтра, наконец, это сбудется. Вот здорово! Значит, я уже большой и тоже могу в пионерской форме прошагать по площади. Весь день я только об этом и думаю. Закрою глаза и слышу, как колонна печатает шаг: раз-два, раз-два. Теперь вы понимаете, почему я сегодня такой радостный?

Прихожу домой и прямо с порога кричу во все горло:

— Мама, мы завтра на демонстрацию идем!

А мама, она окна мыла, от неожиданности даже тряпку выронила.

— На демонстрацию? — переспросила она.

— Ага, нам сегодня учительница сказала.

— Не верится что-то, — засомневалась мама, — маловат ты еще на демонстрацию ходить. Вот в будущем году, может, и пойдешь.

Вот так раз! У меня такая радость, а ей хоть бы что, не верит даже. Каждый бы на моем месте обиделся.

— Как это маленький! — закричал я. — В третьем классе уже! Пионеры, что ли, маленькие бывают? Мы с физкультурной колонной на площадь пойдём, упражнения будем делать.

— Правда? — спросила мама, а по глазам вижу: поверила вроде.

— Честное пионерское. Мы ведь уже сколько дней готовимся, только не знали: пойдём или нет. Третьеклассники раньше не ходили. А сегодня нам сказали, что пойдём.

— Ну что ж, хорошо, если так, — сказала мама.

Я пошел в свою комнату и не успел переодеться, как она опять меня позвала:

— Хаятджан, там на приемнике телеграмма от отца.

Отец поздравлял нас всех с праздником, а меня с днем рождения. Ну и ну! Мне ведь сегодня и вправду десять лет исполнилось. Все время помнил, готовился, даже друзей пригласил. Еще вчера вечером, лежа в постели, я думал: «Интересно, что мне мама завтра подарит?» С тем и заснул. И утром помнил. А когда учительница объявила, что мы на демонстрацию идем, все и выскочило из головы.

— Мам, а мы отцу-то телеграмму послали?

— Некогда мне было, сынок. Тебя ждала. Сбегай-ка на почту, отправь. Я уже и текст написала, вон на столе лежит.

— Ладно, только я не на почту снесу, а девушке, что в конце улицы за столиком праздничные телеграммы принимает. Я мигом.

Схватив листок, я помчался к столику, за которым сидела девушка в почтовой форме. Только быстро отправить телеграмму не удалось, очень уж много народу собралось вокруг столика. Я хотел без очереди вперед прошмыгнуть, да кто-то меня за ворот удержал: «Ты, — говорит, — куда, постреленок? Постарше тебя, и те стоят», — и показывает на старушку. Глянул я, а это бабушка Мехриниса из соседнего дома. Ее внук Карим — капитан нашей уличной футбольной команды. Так и пришлось всю очередь выстоять.

Вернулся я домой, когда мама уже вынимала из тандыра горячие румяные лепешки. У меня даже под ложечкой засосало. Я чуть не попросил лепешку, но вовремя спохватился. На веранде, обмахиваясь веером, сидела незнакомая женщина. Я подошел, поздоровался, а она, встав со стула, протянула руку:

«Здравствуй, здравствуй, Садыков-младший!» Чудно, меня еще никто так не называл.

Тут с ревом во двор вбежала Гузал — сестренка моя. Я к ней.

— Кто обидел? — спрашиваю.

— Ни-и-кто...

— А чего ревешь?

— Да-а, ты завтра на парад пойдешь, а я...

Вот глупая, ей что демонстрация, что парад — все одно.

— Не плачь, — говорю, — и ты пойдешь. Детсад на машине повезут.

— Ой, неужели на машине? А ты не обманываешь?

Еле отвязался от нее, мама помогла. «Отнеси, — говорит, — лепешки в кухню, а я гостьей займусь», — стала приглашать ее в дом. Гостью я не сразу узнал. Помню, что видел где-то, а где, когда? Может, у мамы на фабрике? Наконец, вспомнил. Это же тетя Лена! В прошлом году в институте, где отец работает, она на елке подарки раздавала. Хоть она тогда и была Дедом-Морозом, а все равно я ее сейчас узнал. «Интересно, — думаю, — зачем она пришла?» А она, будто подслушав мои мысли, заторопилась уходить. Только мама ее не пустила. «Что вы, — говорит, — как можно? В кои веки пришли и сразу уходите. Праздник же, посидите с нами, пиалу чая выпейте». Они вошли в дом, а я принялся двор убирать. Сперва полил, чтобы пыль прибить, а потом чисто-начисто метлой вымел. В другое время я бы, может, и не стал подметать, потому что мальчишки меня за это и так девчонкой дразнят, а тут случай такой, что надо маме помочь. Она вон сколько всего переделала, а все из-за меня, старается получше гостей моих принять. Хорошо еще, что в отпуске она, а то бы трудно пришлось. И то сказать: отец в отъезде, я старший мужчина в доме, кто же ей поможет, кроме меня?

Подмел я двор, принялся цветы поливать, только чувствую, кто-то на меня сзади смотрит. Оглянулся — мама. Стоит, улыбается. Нравится, значит, ей моя работа.

— Что ж это, — говорит, — Хаятджан, друзья твои не идут? Ведь четыре часа уже.

— Придут, они, должно быть, сговорились вместе прийти.

— Ну что ж, подождем. — И шепчет: — Ты тетю Лену узнал?

— Еще бы, конечно узнал.

— А знаешь, зачем она пришла? Ее папины товарищи попросили от их имени нас всех с праздником поздравить, а тебя — с днем рождения. Так ты уж ей хороший букет сделай, самых красивых цветов нарежь.

Я сперва растерялся, потом обрадовался. Это ж надо! Кандидат технических наук, а специально пришла меня поздравлять.

Стал я собирать букет, а сам думаю «Как я ей его отдам и что скажу? Протянуть букет и сказать «спасибо»? Не годится. Получится, вроде, я это ей цветы за поздравление даю. Вы, мол, меня поздравили, а я вам за это букетик. И я решил просто поздравить ее с праздником и преподнести цветы.

Тут опять меня мама окликнула:

— Время идет, а приятелей твоих все нет. Ты вспомни-ка, пригласить их не забыл?

— Вот еще, конечно пригласил.

Я уже и сам начал сердиться. Нет, правда, раз договорились, надо вовремя приходиться. Это все Эркина штучки. «Чего, — говорит, — по одному тянуться. Давайте все месте соберемся и пойдем». Вот сейчас, должно быть, кто-нибудь опоздал, а они все его и ждут.

И только я так подумал, калитка с шумом распахнулась и ребята строем вошли во двор. Впереди всех Эркин и как заправский командир командует: «раз, два», «раз, два», «стой». Ребята дружно приставили ногу, а он опять: «раз, два, три...» Тут стоявший в передней шеренге Гайрат как выпалит: «Нашего товарища...», за ним Гульнора: «Хаята...», потом Андрей: «с днем рождения», и наконец все вместе: «поздравляем!» Здорово у них это получилось. Не говорил я разве, что Эркин мастер на всякие выдумки? И это, наверно, была его затея. Потому и опоздали. Репетировали. Теперь я уже на него не сердился.

На шум вышла мама с тетей Леной и пригласили ребят в дом. А на столе чего только не было: и самса, и еще теплые лепешки, и пирожные, и печенье, и мармелад, и шоколадные конфеты, и лимонад. В другое время Гузал сразу бы к конфетам потянулась, а тут кружит вокруг стола с поднятым над головой флажком, то к одному, то к другому ластится, и все старается на конфеты не смотреть.

А ребята все такие чинные сидят, только друг дружке какие-то знаки делают, о чем-то шепчутся. Даже Эркин, уж на что заводила, и тот притих. «В чем, — думаю, — дело? Что это еще за секреты такие?» Я чуть было не спросил, да постеснялся тети Лены.

Тут меня мама в кухню позвала.

— Ты что это, — говорит, — как гость расселся? А за гостями кто ухаживать будет? Стыд какой, даже чаю им не предложил.

Ничего не скажешь, все верно. Я и вправду первый за стол уселся и даже не предложил ребятам угощаться. А сами начать они стеснялись и, чтобы не показывать смущения, перешептывались. А я-то думал, у них тайна какая, эх, растяпа!



Я налил всем чая, наложил каждому полную тарелку сладостей и говорю:

— Ну, давайте, угощайтесь, а то даже и на день рождения не похоже.

Все засмеялись и принялись за обе щеки уписывать все, что мама наготовила. Ох и весело было! Все шутили, а Эркин и тут отличился. «Это, — говорит, — старый обычай — раз в году день рождения отмечать, надо каждый месяц праздновать. Не успеешь оглянуться — и опять именины. Тогда всем всегда весело будет».

В самый разгар веселья попросила слова тетя Лена.

— Ребята, — сказала она, — отец Хаята сейчас в экспедиции. Его товарищи по работе поручили мне от их имени поздравить семью Садыковых с праздником, именинника с днем рождения и вручить ему наш скромный подарок.

Она протянула мне большой сверток. Я поблагодарил тетю Лену, взял подарок, положил на стул и уселся сверху. Вид у меня был такой растерянный, что ребята захохотали и захлопали в ладоши. И тетя Лена смеялась, а когда немного стихло, она стала прощаться. Я преподнес ей цветы и все опять захлопали.

Проводив тетю Лену, мы вернулись в дом. Мама подала плов, все с аппетитом ели, нахваливали, шутили, а меня все время подмывало развернуть сверток. Интересно, что там? Хорошо бы, если б настольный хоккей или еще какая-нибудь игра. А Эркин, как будто почувствовав, что меня любопытство разбирает, говорит: «Давай посмотрим!» Я только этого и ждал. «Давай», — говорю и мигом сверток на стол.

Чего там только не было! И желтый портфель, полный разных интересных книг, и матросский костюм с бескозыркой, и две плитки шоколада, и маленький фарфоровый пионерчик. Пионерчика, конечно, сразу же сцапала Гузал и побежала на улицу — подружкам показывать.

Подарки ребятам очень понравились и все стали говорить, что хорошо бы такие почаще получать.

Потом поднялся Эркин и, подождав, пока стихнет, сказал:

— А вот тебе, Хаят, мой подарок, — и протянул лист бумаги.

Я насторожился: от Эркина всегда подвоха ждать можно. Осторожно взял лист, смотрю — два рисунка. На одном, справа, мой портрет. Очень похоже нарисовано. А что же на другом? Присмотрелся — тоже я. Но какой! С длинной белой бородой и без единого волоса на голове. А в руках у меня стопка книг и на каждом корешке написано: «Академик Х. Садыков». Все стали смеяться, и мама тоже. А Эркин сидел и поглядывал по сторонам: как, мол, удалась моя выдумка?

Вдруг зазвонил телефон. Я схватил трубку, думал, отец, а это звонили с маминой фабрики, из месткома. Я сразу узнал голос председателя месткома Умара Фазыловича, он к нам в лагерь приезжал. И он меня тоже узнал, поздравил и попросил позвать маму.

А потом еще Сабир как вскочит из-за стола:

— И у меня есть подарок!

И протягивает фотокарточку. А на ней весь отряд сфотографирован и я впереди, торжественное обещание читаю. Это он ухитрился снять, когда нас в пионеры принимали. Вообще Сабир в нашем классе самый лучший фотограф. Ему даже фотогазету выпускать поручили.

Много всего мне ребята надарили — кто цветные карандаши, кто акварельные краски, а Дильшад принес книгу Аркадия Гайдара с надписью на внутренней стороне обложки: «Моему другу Хаяту в день рождения. Будем Кибальчишами и ты, и я».

Очень понравился ребятам мамин подарок: красивая деревянная шкатулка, а на крышке Кремль нарисован.

Опять зазвонил телефон. Мама взяла трубку и стала кричать: «Алло!», «Алло!», потом заулыбалась. Я понял: это она голос отца услышала. Тут я, конечно, не выдержал, подбежал, она мне дала трубку и я стал что было силы кричать: «Папа, это я, Хаят... здравствуйте, с праздником... Да, да, ребята пришли... нам очень весело... Хорошо, я всем передам... Ребята, это отец, из Язъявана... Он вам привет передает... Нет, нет, папа, это я не вам, я ребятам...»

Тут подскочила Гузал, вырвала трубку и тоже стала что-то кричать. Она всегда вот так, в самый неподходящий момент появляется. Дашь подзатыльник — реветь начнет, и толку никакого, все равно через пять минут забудет. А я так хотел еще с отцом поговорить. И про экспедицию, и про пески, и про шагающий экскаватор... А она... зла на нее не хватает. Стала отца спрашивать, есть ли в пустыне куклы. Смех да и только. Потом мы стали концерт по телевизору смотреть. Там как раз выступала Мукаррам Тургунбаева, и Гузал, глядя на нее, тоже в пляс пустилась. Умора! Полон рот конфет, а она пляшет, разные коленца выкидывает. Ее хлебом не корми, дай потанцевать. «Я, — говорит, — когда вырасту, тоже в телевизоре танцевать буду». Видали, только ее там и не хватало.

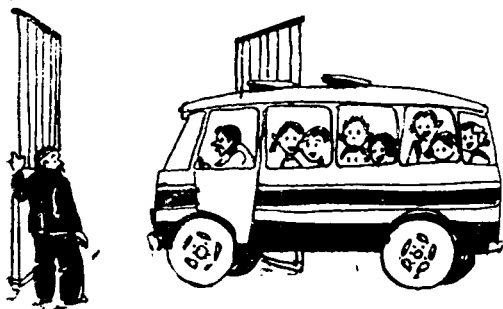
После концерта у нас свой концерт начался. Гайрат и Анвар читали стихи, я играл на дутаре, а потом мы хором пели песни.

Не заметили, как стемнело. Очень не хотелось расколоться, да ничего не попишешь: к демонстрации готовиться надо.

Мы с мамой проводили ребят до остановки, а когда вернулись домой, я еще раз посмотрел все подарки и запрятал подалее от Гузал. К ней что в руки попадет — считай пропало.

А ночью мне приснился удивительный сон. Будто мы всей школой шагаем со знаменами по самой главной Красной площади — в Москве. Идем мимо Мавзолея, мимо трибун и самые лучшие люди советской страны нас приветствуют.

ЭКСПУРСИЯ



Вот и начались каникулы. И хотя еще не прошло и недели, а меня уже скука одолевает. Как я только ни стараюсь разогнать ее — и в школу каждый день хожу, и день деньской на улице играю или дома чем-нибудь занимаюсь — ничего не помогает. Только утром зарядку сделаю, позавтракаю, а она уже тут как тут. Днем-то еще ничего, всегда какое-нибудь дело найдется, а вечерами совсем худо бывает. Ждал, ждал каникул и вот тебе, пожалуйста. Уж лучше бы они и не начинались. К тому же часть ребят разъехалась — кто в кишлак, кто в лагерь, а кто и вовсе с родителями в дальние края укатил. Но многие, как я, в городе остались и тоже скучают. Мы уже собирались, обсуждали, как быть, что делать, чтоб повеселей было. Решили на школьной площадке в разные игры играть, в кружках заниматься, на экскурсии ходить. Может, даже в колхоз поедем. Я еще никогда в колхозе не был. Хорошо бы в первую смену съездить, потому что во вторую я в лагере буду, мама мне путевку купила. Вообще-то я хотел в первую смену поехать, только ничего у меня не вышло. Да и как поедешь? Я старший помощник в доме. Отец все еще в экспедиции, бабушка стара и часто хворает, а от Гузал какая помощь? Мала она еще. Вот мама и попросила: «Останься, сынок, потом поедешь». Да если б она и не просила, я все равно остался бы — вижу ведь, как ей трудно. Так что первую смену я уж как-нибудь в городе проболтаюсь, а уж во вто-

рую — обязательно в Чимган уеду, потому что к тому времени отец придет. Мама так и сказала: «Вот отец вернется и тогда я без твоей помощи обойдусь».

А пока что я собираюсь на экскурсию. Сегодня мы идем на текстильный комбинат. Поведет нас учительница Мукамбар Якубовна. Я уже специальную тетрадь и карандаш приготовил — дневник буду вести. Это мы с ребятами договорились: все, что будет во время каникул интересного, в дневник записывать. Завтра я сделаю в нем первую запись. Сперва напишу: «Мы едем на текстильный комбинат», а потом все, что увижу.

Встав пораньше и наскоро позавтракав, я стал собираться. Смотрю, мама никуда вроде не торопится. Станным мне это показалось. Обычно она в это время уже на фабрику уходила, а тут сидит, шьет что-то. Я чуть было не сказал: «Мам, вы же на работу опаздываете», но почему-то промолчал, а почему, я и сам не знаю.

Одевшись, я уж готов был выйти из дома, да Гузал с распросами пристала: «Куда, да зачем, да почему в пионерской форме?» Еле отвязался. Мама помогла. «Он, — говорит, — скоро вернется». А тут Эркин как ошпаренный прибежал, отозвал меня в сторону и говорит:

— Ты ничего не знаешь?

— Нет.

— Не едем мы на комбинат.

— Чего? — не поверил я. — Кто сказал?

— Никто. Это я сам додумался.

— Вечно ты до чего-нибудь додумаешься, мыслитель!

— Смейся, смейся, посмотрим, как ты потом смеяться будешь. Сегодня же выходной. Соображаешь? Значит, комбинат не работает.

— А ведь правда! Значит, и Мукамбар Якубовна забыла, что сегодня выходной. Каникулы же, запросто забыть можно, а, Эркин?

— Не знаю, — безразлично пожал он плечом.

Это он только притворился, что ему все равно, пойдем или не пойдем мы на экскурсию, а на самом деле ему тоже обидно. И как тут не обижаться? Готовились, готовились и вот тебе, пожалуйста... Любой бы обиделся.

Наш разговор услышала мама.

— Я уж и сама удивлялась, что вы в выходной на комбинат собираетесь. Ну да ничего, идите, Мукамбар Якубовна знала, что говорит. Если внутрь вас не пустят, снаружи посмотрите, тоже интересно. Там целый городок выстроен.

— Фи, тоже мне экскурсия, — фыркнул Эркин.

Все же пошли мы в школу. Приходим, а ребята уже в авто-

бусе сидят и Мукамбар Якубовна тоже, нас дожидаются. Выходит, мы опоздали. Только автобус выехал на дорогу, Анвар как запоет: «Пионер, не теряй ни минуты...» Все, конечно, подхватили, а сами на нас смотрят. Они, значит, заранее договорились так над нами подшутить. А мы с Эркином не дураки, тоже вместе со всеми стали петь. Так ничего у них из этой затеи не вышло.

Мы ехали по Бешагачу, по Театральной, а Мукамбар Якубовна нам рассказывала:

— Посмотрите, ребята, налево. Видите между деревьями большое здание? Это Дворец культуры текстильщиков. В нем много разных кружков, студий и занимаются в них не только работники комбината, но и их дети. А сейчас мы въезжаем на проспект Шота Руставели. Это одна из самых больших и красивых магистралей нашего города.

А проспект и вправду красивый. Чего на нем только нет: и многоэтажные дома, и магазины разные, и школы. Только успешной головой вертеть.

Наконец наш автобус остановился перед большими воротами. Мукамбар Якубовна велела нам дожидаться, а сама, поговорив о чем-то с вахтером, прошла на комбинат. Мы тем временем окружили фонтан и стали плескаться друг на друга. Девчонки, конечно, завизжали, потому что вода была холодная. В другое время мы бы не упустили случая искупаться, а тут нельзя — экскурсия. Вдруг смотрю, Эркин вскочил на барьер фонтана и застыл, как памятник. За ним другие ребята наверх взобрались, и я вместе со всеми, а зачем — не знаю.

А это, оказывается, Сабир задумал нас так сфотографировать. Я догадался: он хочет всю экскурсию снять, а потом фотогазету выпустить.

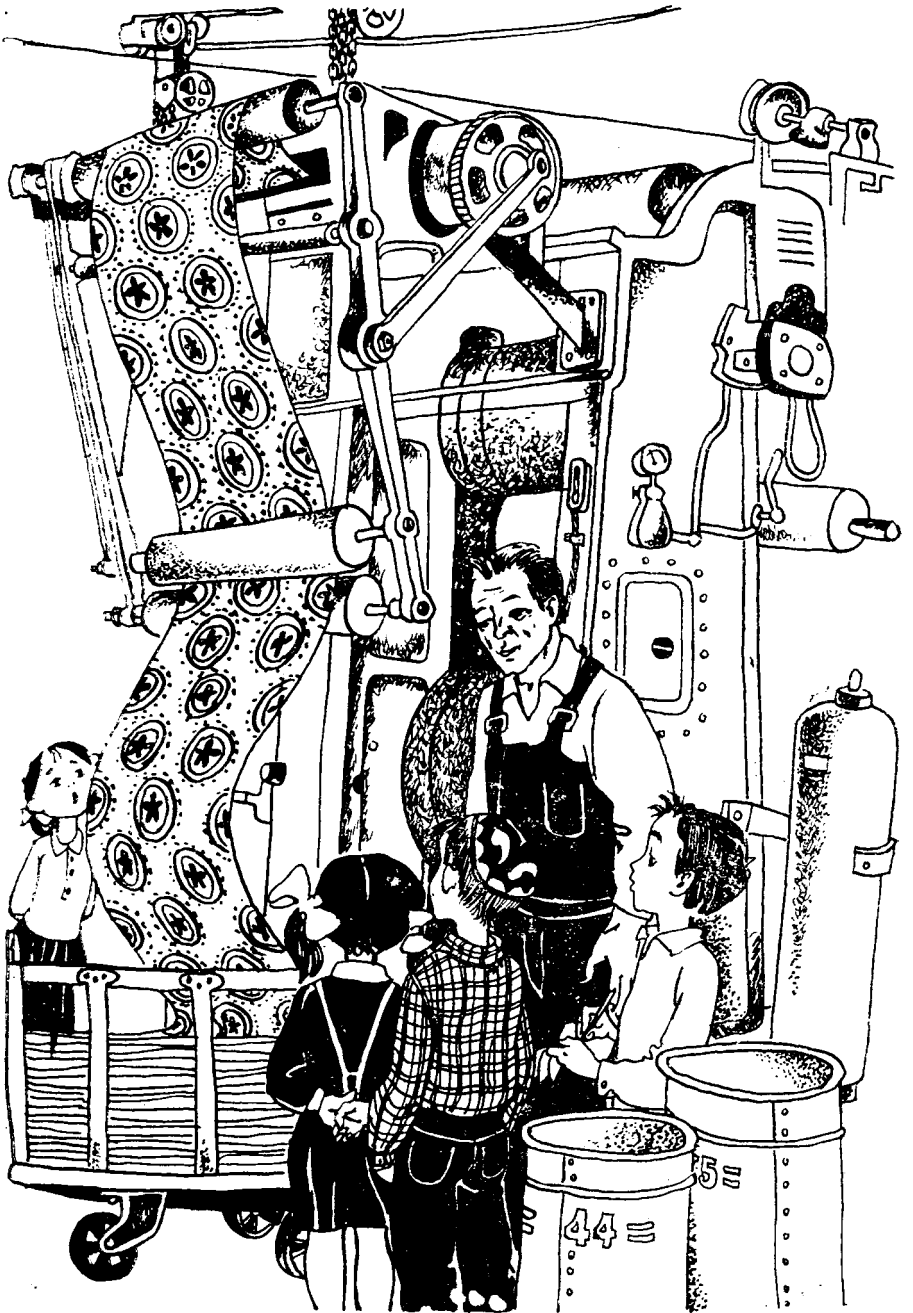
Тут вернулась Мукамбар Якубовна с каким-то высоким светловолосым мужчиной и позвала нас. Мужчина, звали его Сергей Васильевич, поздоровался, сказал, что и он, когда был пионером, тоже сюда на экскурсию приходил, и повел нас за собой.

Я сперва и не поверил, что это комбинат, так все вокруг было красиво. Цветов и деревьев вокруг — как в парке. Асфальтированные дорожки, а на них, среди зелени, разноцветные скамейки — сиди, отдыхай, сколько душе угодно.

Мы пошли по широкой аллее и остановились около Доски почета. Там были вывешены портреты ударников.

— Ребята, — сказал Сергей Васильевич, — наш комбинат самый крупный в республике. А первый кирпич в его фундамент уложил сам Юлдаш Ахунбабаев. Вы знаете, кто это?

— Знаем, — закричал я, — в газете «Пионер Востока» про него статья была — «Верный сын узбекского народа». Юлдаш



Ахунбабаев был первым председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. Его имя носит наш театр юного зрителя. И школа есть имени Ахунбабаева, и площадь.

И другие ребята тоже стали наперебой рассказывать все, что знали про Ахунбабаева. Оказалось, весь класс о нем знает.

А я достал из-за пазухи дневник и записал: «Первый кирпич в фундамент комбината уложил Юлдаш Ахунбабаев».

Сергей Васильевич рассказал о самых прославленных людях комбината, потом повел нас к большому зданию. Это оказалась ткацкая фабрика. Внутри она была огромная-преогромная, ну, прямо, как стадион, а станков всяких не сосчитать.

Мы пошли вдоль станков, еле успевая вертеть головами по сторонам. Сергей Васильевич что-то рассказывал, только я все равно ничего не слышал, машины мешали. Около одного станка он остановился и что-то сказал женщине в красной косынке. Она улыбнулась, поздоровалась за руку с Мукамбар Якубовной и приветливо кивнула нам головой. Я ее сразу узнал. Это была знаменитая ткачиха Лидия Павловна Казанцева. Ее портрет был в газете напечатан.

Сергей Васильевич сделал знак рукой и все пошли за ним. Я хотел остаться и поговорить с Лидией Павловной, да вспомнил, что Сергей Васильевич предупреждал, чтобы мы не отставали от группы и не отвлекали ткачих от работы.

Когда мы вошли туда, где потише, Сергей Васильевич сказал:

— Вы только что видели Лидию Казанцеву. Это наша прославленная ткачиха. Она одна на сорока восьми станках работает.

— Вот это да! Это только сказать легко — сорок восемь. А как управляться с ними? Это сколько же рук надо? Я сразу же записал в дневник: «Л. Казанцева — 48 станков». Только коряво получилось, потому что стоя разве хорошо напишешь? И я решил дома все заново переписать.

Когда мы вышли во двор, Сергей Васильевич сказал, что на комбинате есть еще одна такая же ткацкая фабрика. Только мы туда не пошли, а пошли на прядильную. И там тоже было много станков, непохожих на те, что мы видели на ткацкой фабрике, но тоже очень красивых. И работают они очень интересно. Не успеешь глазом моргнуть, а на веретено ровно столько ниток наматывается, сколько нужно — и ни капельки больше.

Мы вышли наружу и сразу стало тихо-тихо. Даже странно как-то: за стеной столько станков работает, шум такой, а здесь ничего не слышно. Это потому, — объяснил Сергей Васильевич, — что вокруг много зелени и она поглощает шум. И еще из-за зелени здесь прохладно. Я посмотрел вокруг и подумал: «И вправду все здесь, как в парке, — и цветы, и фонтаны, и

даже автоматы с газводой и газетами. А Сабир все целился на нас фотоаппаратом. Когда мы выходили с фабрики, он нас сфотографировал, и сейчас опять, под деревьями, с Сергеем Васильевичем в центре. Хорошая будет фотогазета, если все карточки получатся.

В здании ситцепечатной фабрики Сергей Васильевич повел нас сперва на второй этаж, чтобы показать, как художники готовят рисунки, которые потом переносятся на ткань. Эркин, наш главный художник, так обрадовался, что даже подпрыгнул.

Пройдя по длинному коридору, мы вошли в светлую комнату, где две художницы, сидя за большим столом, что-то рисовали.

Сергей Васильевич стал рассказывать, как из многих рисунков выбираются самые лучшие, как они переносятся на ткани. «В этом году, — сказал он, — комбинат выпустит ткани более ста новых расцветок. А рисунки к ним подготовят наши художники», — и дал нам два альбома. Мы разделились на две группы и стали рассматривать. Я сперва подумал, что это фотоальбомы, а там оказались образцы тканей, изготовленных по рисункам художниц, с которыми мы только что познакомились. Один образец я сразу узнал. Он был точь-в-точь, как тот материал, из которого мама сшила платье Гузал. Я даже закричал: «Смотрите, смотрите, у моей сестренки точно такое платье!» Все засмеялись, а Эркин громче всех. А потом с ним самим еще смешнее получилось. Когда наша группа начала рассматривать второй альбом, он как завопит:

— Вот, по нашему карману!

Все, конечно, расхохотались, а он обиделся.

— Вам бы, — говорит, — только зубы скалить, а сами ничего не знаете. У бабушки такое одеяло есть, старое-престарое. Она говорит, что эта ткань «по нашему карману» называется.

А мы все равно смеялись, потому что очень смешное название.

Художница, слышавшая Эркина, подошла к нам.

— Ну-ка, что тут «по нашему карману»?

Эркин показал.

Художница тоже засмеялась и сказала:

— В старину действительно существовала ткань, которую называли «по нашему карману». Давным-давно, еще до Октябрьской революции, купцы привозили из разных стран ткани на продажу. Богачи, те покупали что подороже, а бедняки — что подешевле да покрепче, чаще всего бязь или ситец — они самые дешевые были. Потому так их и называли — «по нашему карману». А теперь у нас нет богачей и бедняков и хорошие ткани каждому по карману. Вот и вы, я смотрю, в шелковых платьях

и рубашках ходите. Ты спроси у бабушки, — сказала она, обращаясь к Эркину, — она тебе все про те времена расскажет.

И я про себя решил у бабушки спросить, она тоже много всего на своем веку повидала.

Потом мы спустились вниз и пошли в цех. Ох и интересно, скажу я вам, посмотреть, как из машины сплошным потоком льется готовая ткань. Очень похоже на водопад, только цветной. Потом мы видели, как ткани распределяют по сортам и аккуратно складывают. И здесь, — сказал Сергей Васильевич, — тоже работают ударники. Вообще на комбинате очень много ударников на всех фабриках.

Когда мы вышли с ситцепечатной фабрики, было уже больше двух часов. Сергей Васильевич нам еще долго рассказывал про другие фабрики, и цеха, которые, оказывается, тоже входят в комбинат. Я-то думал, что мы все-все увидели, а на самом деле, выходит, самую малость. Чтобы все посмотреть, целого дня не хватит. И про то, сколько тканей комбинат выпускает, Сергей Васильевич тоже рассказал. Только вчера, — сказал он, — сверх плана выпущено столько тканей, что из них можно сшить одежду для учеников двух больших школ.

Потом Сергей Васильевич ответил на наши вопросы. Много вопросов было, самых разных, даже смешных. Ханифа, например, спросила, выпускаются ли специальные ткани для кукол. Не смешно разве?

Когда он кончил, Мукамбар Якубовна от нашего имени поблагодарила его и мы пошли к автобусу. Жаль было расставаться с Сергеем Васильевичем. Я уже к нему привык и даже два раза назвал дядей Сережей. Он не обиделся, только улыбнулся и, положив руку мне на плечо, спросил: «Что, сынок?»

Домой я пришел уже в четвертом часу.

— Что, Хаятджан, работает сегодня комбинат? — спросила мама.

— Конечно.

— И в воскресенье работает?

— Вот вы о чем? Так это специально для нас сегодня рабочий день организовали, чтобы экскурсию не срывать, — пошутил я и стал рассказывать обо всем, что видел.

НОВЫЕ ПРИЯТЕЛИ



Только я открыл глаза и подумал: «Когда же подъем?», как над лагерем раздался звонкий голос пионерского горна. Вскочив с кровати, я увидел, что никто еще не поднялся, я — первый. Раньше со мной никогда такого не бывало. Никакой горн не мог меня разбудить. Просыпался я только тогда, когда все ребята, поднявшись, начинали так шуметь, что спать было уже просто невозможно. Да и то проснусь, бывало, и лежу, не могу головы от подушки оторвать. Однажды даже наш вожатый Кучкар-ака меня при всем отряде пристыдил. С того дня я стал подниматься вместе со всеми ребятами. А чтоб раньше сигнала просыпаться, такого со мной еще никогда не случилось. Это впервые.

На берегу широкой реки расположились, один за другим, пять пионерских лагерей. Наш посредине. С какого конца ни пойдешь, он средний. Когда мы все вместе собираемся купаться, ребята из других лагерей нас «середнячками» дразнят. Мы сперва обижались, а потом поняли, что ничего в этом обидного нет, даже почетно. Знаете почему? Средний — это вроде центральный. А в центре кто обычно стоит? Лучший. И еще потому, что наш горн самый звонкий. Когда утром у нас играют сигнал подъема, его во всех пяти лагерях слышно. Больше всего мне в лагерьной жизни нравятся сигналы горна. В утренней тишине они

звучат особенно звонко. Прохладный ветерок разносит их далеко-далеко, и птицы, тоже только что проснувшиеся, начинают порхать с ветки на ветку, с дерева на дерево, будто пляшут под эту чудесную музыку. По-моему, горн — самый лучший из всех музыкальных инструментов. И особенно красиво звучит он в лагере. Сколько раз я его слушал — и в школе, и на экскурсиях, и в «Пионерской зорьке», а все не то: в лагере лучше.

Вот и сейчас, заслушавшись его звонкой трелью, я не заметил, что весь лагерь построился на зарядку. Я мигом примкнул к строю и вместе со всеми стал делать упражнения. Делаю и думаю: «Вот сейчас кончится зарядка и опять надо заправлять кровать». Противная, скажу я вам, это работа. Никак я к ней не привыкну. Как ни стараюсь, по сколько раз ни перестилаю, все, как у других, не получается. Вместо этого пять задачек по арифметике решить — и то легче. Сколько раз вожатый мою работу браковал, заставлял перестилать. Думаете, приятно?

Ну вот, вернувшись после зарядки в палату, я принялся за постель. Положил на тумбочку одеяло с подушкой, стряхнул простыню и давай заново стелить. Только не успел я еще даже одеяло поверх простыни положить, а все ребята закончили работу и побежали умываться. Опять, — думаю, — я позже всех. Хоть плачь.

— Постой, Хаят, — услышал я за спиной голос Саши Чернышева. — Давай-ка вместе сделаем. Вот смотри: одеяло складываем вдвое, края простыни накладываем поверх него, взбиваем подушку, кладем ее на одеяло и делу конец.

И так у него все здорово получилось — загляденье. Потом я все заново сделал. Конечно, вышло не так, как у Саши, но тоже ничего, лучше, чем раньше бывало.

Хороший товарищ Сашка. Настоящий. Я с ним здесь познакомился. В первое воскресенье приехали ко мне мама с Гузал. Пошли мы к реке, под деревьями на берегу посидеть. Только расположились поудобней, смотрю — Саша с каким-то дяденькой идет. Оказалось, это его отец — Дмитрий Николаевич. Он вместе с мамой на фабрике работает. Долго мы все вместе сидели, о чем только ни говорили, а когда прощались, Дмитрий Николаевич нас к себе домой в гости пригласил. А мама засмеялась и говорит:

— Нет уж, Дмитрий Николаевич, я женщина, так что вы, пожалуйста, сперва мое приглашение примите, а потом уж мы к вам всей семьей придем.

Вот с того дня я с Сашей и подружился. Все время мы вместе — и в походах, и на спортплощадке, и в шахматном павильоне. Здорово он в шахматы играет. Он сейчас второе место в лагерьной таблице занимает. Может, даже на первое выйдет. А у

меня пока третье — тоже ничего. Мы вместе к соревнованиям готовились.

Не с одним только Сашей я подружился. Лагерь ведь чем хорош? Тем, что сразу со многими ребятами знакомишься, сразу много новых товарищей заводешь. Я ведь поначалу не хотел ехать в лагерь, думал, скучно без приятелей будет. Какое там скучно! Через два-три дня все перезнакомились и вроде всю жизнь друг дружку знали.

Есть во втором звене парнишка один — Саид. Ну точь-в-точь мой приятель Сабир. И повадки такие же, и так же фотографировать любит, ни на минуту из рук не выпускает аппарат. В походах, на экскурсиях он всегда впереди. Выберет подходящую точку и давай щелкать. К тому же еще и шутник он. Но только в этом он одному нашему пионеру уступает — Сурьату. А Сурьат, знаете, какой? Не очень чтобы видный собой, маленький, круглый, как колобок, а начнет шутками-прибаутками сыпать, животики надорвешь. А сам, между прочим, не смеется, только глаза жмурит, и такой у него при этом бывает забавный вид, что ребята еще сильнее хохочут. С ним не соскучишься, даже устанешь — от смеха. Он и в драмкружок ходит. Не знаю уж, какую ему там роль поручили, только наверняка смешную.

Один только мальчишка мне не нравится — Карим. Он в общем-то неплохой, но душа у меня к нему не лежит. Я даже жалею, что голосовал за него, когда совет отряда выбирали. Вечно он хмурый, будто обиженный, ходит, хотя никто его и не трогает. Мама мне говорила: «Ты, сынок, с ним играй, он мальчик неплохой. Мы с его матерью вместе работаем». Ну и что с того, что наши матери на одной фабрике работают? Не хочу я с ним водиться и не буду. Не нравятся мне такие. А знаете, с чего все началось? Я уже вам рассказывал, что никак не научусь кровать застилать. Сегодня уже одиннадцатый день, как я здесь, а все еще толком не научился. Сейчас-то я кое-как застилаю, хотя и не очень красиво, а в первые дни совсем плохо получалось. Я и попросил Карима: помоги мол. Он не отказал, помог. И на следующий день я его попросил. Он опять согласился, только когда подошел к моей кровати, говорит:

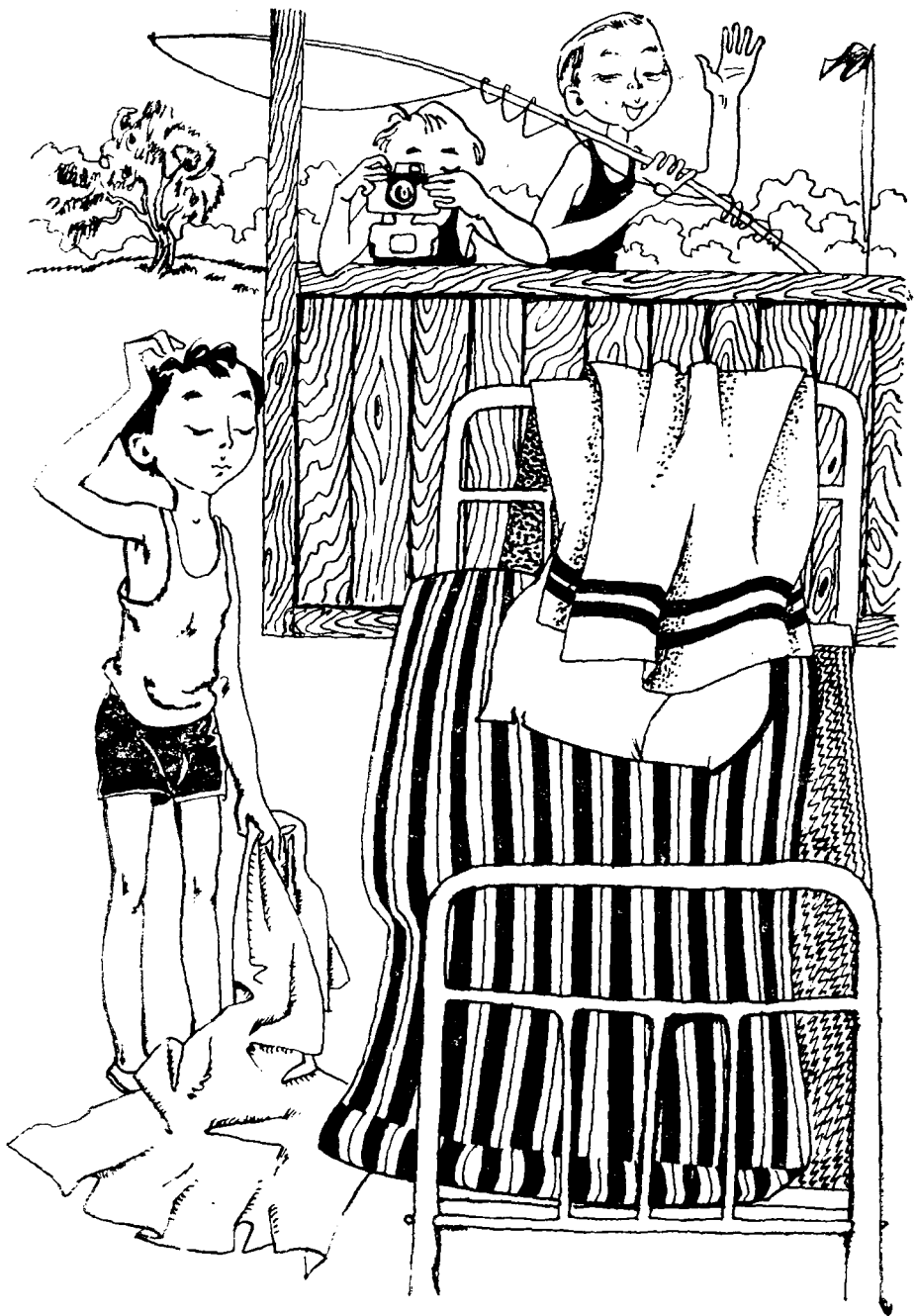
— Я ведь один раз показал тебе, ты и стели теперь сам, не маленький.

Ох и рассердился я!

— Ты, — говорю, — каждый год по лагерям разъезжаешь, вот и научился. А я, — говорю, — в первый раз. И нечего задаваться.

А он скорчил кислую мину и так это свысока мне отвечает:

— Это не причина, что в первый раз. Таких здесь много. Кровать стелить — невелика хитрость, этому дома учатся.



— Дома? — засмеялся я. — Дома мать стелит.

А он мне:

— Эх ты, белоручка, маменькин сыночек, кровать застелить не можешь! А еще пионер, в четвертый класс перешел.

Тут уж я не стерпел. Это я-то белоручка?!

— Много, — говорю, — о себе воображаешь! Я дома знаешь как матери помогаю? И двор поливаю, и подметаю и вообще...

— Брось, — махнул он рукой и пошел.

— Не веришь — у матери спроси! — крикнул я ему вдогонку, а он даже и не оглянулся.

То, что он мне не поверил — полбеды, он еще вожатому наобедничал, что я кровать застилать не умею, другие ребята за меня стелят, а я, мол, их за это шоколадом угощаю. Вот и сегодня идем мы с Сашкой умываться, а он стоит, ухмыляется: «Что, опять кто-нибудь за тебя кровать стелил?» И какое, спрашивается, его дело? Ну скажите, можно с таким дружить?

После завтрака пошел я в шахматный павильон. Сегодня у меня игра с Фаридом. Он тоже здорово играет. У него такая тактика: сперва прикидывается простачком, как попало фигуры переставляет, — это чтобы бдительность противника усыпить, потом как пойдет в атаку — только держись. Интересно, как сегодня получится? Если выиграю, значит будет у меня шесть очков. Тогда мне разряд дадут и в лагерную сборную включат — с соседним лагерем играть будем. Вот бы выиграть!

Прихожу в павильон, а там ребят раз-два и обчелся. Из нашего отряда, кроме меня, вообще никого нет. В чем, думаю, дело? Или на рыбалку все ушли? Как же это, ведь завтра собрались идти. Пока я раздумывал, кто-то меня со стороны площадки, где обычно линейка проходит, окликнул:

— Хаят, а, Хаят, беги сюда!

Смотрю, а там Фарид, Саша, Сурьят собрались, что-то разглядывают. Прибегаю, Фарид мне на доску, где стенгазета висит, пальцем показывает, а сам смеется.

Глянул я на стенгазету, а там карикатура. Стою вроде я около своей кровати и затылок почесываю, а рядом на полу подушка, одеяло, простыни валяются. А под карикатурой заметка: будто я лодырь отъявленный, сам постель не стелю, а ребят заставляю. Из-за этого, мол, наш отряд одно очко проиграл. Я сразу догадался, чьи это штучки: Карима, конечно. Так мне обидно стало, что я чуть не разревелся.

Стою я, слезы глотаю, а тут еще около стенгазеты ребята из других отрядов собрались, хохочут. Верите, до сих пор у меня в ушах этот хохот звенит.

Не помню уж, как я оказался на берегу реки. Сижу под деревом и не могу от обиды в себя прийти.

Что, думаю, делать, куда от позора деваться? И надумал из лагеря бежать, да так, чтобы никто не знал. Надо только дожждаться, когда стемнеет, а то еще могут увидеть, — тогда все пропало.

Не знаю, сколько я так просидел, только чувствую вдруг, как кто-то сзади мне глаза руками закрыл, а кто — не знаю. Я вскочил, а он, тот, кто мне глаза закрыл, руки и отними. Смотрю — Фарид, Саша, Сурьят. И Карим тоже с ними. Стоят улыбаются, как будто ничего не произошло. А Сурьят скорчил смешную рожу и давай разные штучки-дрючки выкидывать. Все захохотали, и я тоже. Потому что невозможно, глядя на его проделки, не смеяться.

Встал я, а Сурьят мне удочку протягивает. Смотрю, удочка-то моя! Ну и молодчина Сурьят — и мою прихватил.

Пошли мы к заветному местечку рыбу удить. Идем, обо всякой всячине болтаем, и никто о том, что произошло, об этой злополучной карикатуре — ни полслова. И во время рыбалки, и потом, когда в лагерь возвращались, тоже об этом не говорили. Я понял: это они, чтобы я не обижался.

До обеда все шло хорошо, я уже начал забывать о стенгазете. А во время «тихого часа» опять вспомнил, потому что опять ведь надо кровать стелить. Так я и не заснул, хотя люблю после обеда поспать. Поднялся я раньше всех и давай с постелью возиться. Несколько раз перестелил, а все равно вкривь и вкось получилось, хоть и лучше, чем обычно. Тут появился наш вожатый Кучкар Хикматович и позвал меня к себе, в свою палатку. Я даже сперва перепугался. В чем, думаю, дело? Неужели опять из-за стенгазеты? Только зря я так думал. Он говорил со мной совсем о другом — о моих родителях, сестренке, о друзьях-приятелях. И так хорошо, так приветливо говорил, что у меня от сердца отлегло. А потом все же напомнил мне о карикатуре: «На критику ты не обижайся, от нее только польза и больше ничего. А сейчас позови-ка Карима». Неохота мне было идти, стою, с ноги на ногу переминаюсь, а он: «Ничего, ничего, зови». Я и позвал, разве с вожатым заспоришь? Когда Карим прибежал, Кучкар Хикматович скомандовал:

— Пионер Карим Ахмедов! Вам боевое задание: за три дня научить пионера Хаята Садыкова стелить постель. О выполнении доложить. Ясно?

— Ясно, — ответил Карим.

— Можете быть свободны.

Мы вышли и, хотя до самой палаты шли рядом, не разговаривали. Да и о чем тут поговоришь? И ему это поручение не очень приятно, а мне и подавно.

Наутро, после зарядки, Карим стал меня учить. Сперва сам все чин-чином показал, потом меня заставил заново перестелить.

А после «тихого часа» я под его наблюдением трижды кровать заправлял. Ох и зло меня взяло: я стелю, а он рядом стоит и приговаривает: «так» — «не так», «так» — «не так». Три дня продолжалась эта каторга, пока, наконец, вожатый не сказал:

— Хорошо. Кто стелил?

А кровать и вправду была хорошо застелена. Мне даже самому понравилось.

— Это он сам, — засмеялся Карим и хлопнул меня по плечу. Теперь я сам стелю свою кровать и очень хорошо у меня это получается. Если надо будет, смогу кое-кого и поучить.

Нет, не зря, выходит, я голосовал за Карима, когда его в совет отряда выбирали. Хороший он товарищ, настоящий — не хуже других, с кем я в лагере подружился. А что покритиковал меня, так это ж на пользу.

«АКЛХАНА»

Появилось недавно в моем дневнике новое слово — «аклхана». Вы, наверное, сроду такого не слышали, а мне вот повезло. И сразу оно мне понравилось. Вы только послушайте, как оно звучит: «аклхана». Правда ведь, красиво? Само слово-то я записал, а вот что оно значит, когда и от кого я его услышал, не стал писать. Зачем? Я теперь и так

все знаю, и если когда-нибудь услышу или прочту его, сразу вспомню. Даже когда вырасту большой.

А было это так.

Моя сестренка Гузал в детский сад ходит. Ей еще и пяти с половиной не было, а она уже все буквы знала не хуже, чем первоклассница. Даже имя свое правильно писала, только большими печатными буквами. И ничего тут нет удивительного — в детсаду все ребята такие. Их там знаете как учат! Вон и Гайратка, соседский мальчишка, и Афруза, и другие ребяташки ничуть не хуже моей сестренки все знают. А вот бабушка не верит, что так может быть. Послушать ее, так Гузал такая умная — умнее и не бывает. Только и слышишь: «Ах, внученька, ах умница-разумница, не сглазил бы кто тебя». Я говорю: «Бабушка, не одна она такая, другие ребята ничуть не хуже». А она сердится. «Ты, — говорит, — помалкивай, мал еще меня учить».



Однажды вот что было. Выучила Гузал в детсаду новую песню и вечером, когда все собрались ужинать, спела. Песня как песня. Я, когда маленький был, тоже ее пел. Может, даже лучше. А бабушка как услышала, прослезилась и давай ее обнимать да целовать. И все приговаривает: «Солнышко ты наше ясное, головушка светлая, одна ты у нас такая, единственная.

Мне даже обидно стало.

— И вовсе, — говорю, — она не единственная, сейчас все ребята такие.

— Ничего ты не понимаешь, — рассердилась бабушка, — она за четверых соображает. Не было еще в нашем роду таких.

— А как же мы все — и папа, и мама, и я тоже?

— Вот настырный какой. Я, хоть и старая, а тоже кое-что понимаю. Говорят тебе, что не было у нас таких, значит, не было. Я на своем веку таких детей не видала.

А я возьми и спроси:

— Бабушка, вы, когда маленькие были, детские песни пели?

— Что ты? Кто нас этому учил? Ни детсадов, ни школ мы не знали. Только и радости было, что тряпичными куклами играть.

— Ну вот, теперь вы понимаете, почему Гузал такая умная? Потому что в детский сад ходит.

— Ну ладно, — вздохнула бабушка, — пусть будет потвоему.

Я очень обрадовался, что сумел так хорошо все объяснить бабушке. Я так считаю: каждый пионер должен объяснять старикам все, чего они не знают. Тогда все-все старики и старушки будут грамотные, как мы.

Да, совсем забыл, я ведь вам про новое слово хотел рассказать.

Однажды бабушка поранила во дворе гвоздем ногу. Не сильно поранила, но все-таки кровь потекла, хотя и немного. Гузал, как увидела это, побежала в дом, принесла старую мамину косынку и перевязала бабушке ногу ниже колена. Бабушка сперва не поняла, что это она такое делает, и спросила:

— Ты это зачем, внученька?

— Ну как вы, бабушка, не понимаете? — удивилась Гузал. — Если так перевязать, кровь остановится.

— А кто тебя этому научил?

— Воспитательница Рахима Юлдашевна. Я же в детсаду доктор!

Мама принесла йод, смазала царапину и скоро кровь перестала течь. А бабушка смотрит на Гузал, гладит ее по голове и говорит: «Вот какая у меня внученька, каждый день у нее что-нибудь новое».



На следующий день под вечер, когда я собрался идти в детсад за сестренкой, бабушка позвала меня. Смотрю, а она сидит в своем самом красивом платье, на голове новая косынка, как будто в гости собралась.

— Хаятджан, возьми и меня с собой. Видишь, я уже готова. Должна же я когда-нибудь своими глазами посмотреть, что это за детский сад такой.

Я хотел было возразить, но она и слушать не стала.

— Веди и все. Потихоньку пойдем, я и не устану. Поддай-ка мне мою палочку.

Легко сказать «веди». Ей ведь уже восемьдесят пять! Устанет, что я с ней тогда стану делать?

Пришлось взять ее с собой. Только зря я боялся. До самого детсада мы дошли, ни разу не остановившись. Только уже у ворот бабушка присела на разноцветную скамейку. «Дай, — говорит, — маленько передохну».

Тут вдруг появился мой закадычный приятель Эркин. Он тоже за братишкой пришел. Стоим, разговариваем о разных наших делах — мы с ним целых два дня не виделись — оглядываюсь, а скамейка пустая, бабушки нет. Куда она могла исчезнуть? А она знаете где оказалась? Пока мы с Эркином болтали, она тихонько вошла во двор, спряталась за кустом сирени и стала смотреть, что в детсаду делается. Гляжу я на нее и смех меня разбирает.

— Бабушка, — говорю, — зачем же прятаться? Пойдемте, я вам все покажу.

— Тс-с, тише говори, Гузал услышит — сразу прибежит. Ты глянь-ка лучше вон туда, сестренка-то твоя доктор, а!

Бабушка концом косынки вытерла набежавшую слезу.

Посреди двора за столиком, накрытым белой простыней, восседала Гузал. На ней был белый халат, а на голове колпак с красным крестиком спереди. Левой рукой она придерживала лежавшую у нее на коленях большую куклу, а правой передвигала по животу куклы стетоскоп. Резиновые трубки стетоскопа тянулись к ее ушам. За столом на стульчиках, прижимая к груди кукол, сидели три девочки. Это они, как в настоящей поликлинике, дожидались своей очереди к доктору.

Выслушав куклу, Гузал сунула ей под мышку термометр.

Посмотрели бы вы в тот момент на бабушку! Затаив дыхание, боясь шевельнуться, она горящими глазами пристально следила за каждым движением внучки. Я чуть не рассмеялся, потому что такой смешной я ее еще никогда не видел.

По правую сторону двора, под деревом, несколько ребят строили дом. Двое на игрушечных машинах возили песок, еще двое подносили дощечки. А чуть подалее что я увидел! Мне даже самому интересно стало. Два стола, расстояние между ни-

ми метра четыре, может, даже пять или шесть. На каждом столе телефон стоит. Никаких проводов между ними нет, а двое ребят запросто друг с дружкой разговаривают. Правда, здорово? А в левой стороне двора всюю торговля идет. Какой-то карапуз в белом халате и колпаке на игрушечных весах «покупателям» пластмассовых рыбок отвешивают. И так это у него ловко получается, прямо как в «Гастрономе».

Под большим грибом кружок ребятишек, наверное, из младшей группы, уставив глазенки-пуговики на воспитательницу, слушают, что она им читает из книжки с картинками.

Я опять посмотрел на бабушку. Глаза у нее еще больше стали.

— Ну что, бабушка? — спросил я, легонько дернув ее за рукав.

— Да постой ты, — отмахнулась она, потом, обернувшись ко мне, говорит: — Сроду я такого не видела, а ты еще не хотел брать меня с собой... А что этот мальчик делает?

— Какой?

— Вон тот, в красной шапке, с флажком в руке?

— А, это железнодорожник, дежурный по станции. Видите, он флажок поднял? Значит, поезд может отправляться.

— Ну и дела! — удивилась бабушка.

— Бабуль, а бабуль, — попросил я, — пойдите домой, сегодня по телевизору футбол показывать будут. Как бы не опоздать. А она не встает с места. Как сидела под кустом, так и сидит.

— Давай, — говорит, — еще немного побудем. Мне же интересно. Вон ребятишки песню запели, я послушать хочу.

Ну что ты с ней поделаешь? Пришлось остаться. А тут и Гузал прибежала. Раскраснелась вся и колпак с красным крестиком набок съехал. «Я, — говорит, — давно тебя заметила, только хотела сперва прием больных закончить. Ты на меня не обижаешься?» «Нет, — говорю, — нисколько не обижаюсь. Глянь-ка туда, кто там за кустом сидит?» Она как увидела, даже подпрыгнула от радости. Потом тихонько на цыпочках подкралась сзади и закрыла бабушке глаза ладошками. А бабушка ее все равно узнала. Обняла, стала целовать и приговаривать: «Ах ты, моя маленькая, мой доктор родненький, теперь мне и болеть не страшно».

Идем мы втроем домой, а Гузал и спрашивает:

— Бабуль, понравился вам мой садик?

— Понравился, внученька, уж так понравился. Это, скажу я вам, не садик, это аклхана.

— Чего, чего? — переспросил я.

— А ак-аклхана, — еле выговорила Гузал, — хорошее слово?

— Хорошее, очень хорошее, — ответила бабушка. — Вообще-то такого слова нет, я его сама придумала. «Акл» — по-узбек-

ски — ум, а «хана» — помещение, дом. Вот и получается, что алкхана — это, как бы вам сказать, по-современному, вроде дворец знаний, или уни... уни-вер-си-тет.

Здорово придумала бабушка, правда? Не каждый же может новое слово придумать. Потому я и записал его в свой дневник и теперь никогда не забуду.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ



Проснулся я чуть свет, еще и шести не было. Мать еще спала, хотя ей на работу раньше, чем мне, уходить. Тихонько посапывала в своей кроватке Гузал. В открытое окно дул легкий прохладный ветерок, и она во сне поеживалась, пытаясь нашарить рукой сплзшее на пол одеяло. Поднял я его, прикрыл сестренку, а то еще чего доброго про-

студится. А ей это в два счета, потому что одеяло всегда у нее на полу. И неудивительно. То свернется калачиком, то ногу с кровати свесит, а то и вовсе на четвереньках спит. Как тут одеялу удержаться? Сколько уж раз мама пыталась приучить ее спать нормально, как все люди спят, а толку никакого. Хорошо еще, что с кровати не падает. И как это ей удается — не пойму.

Так вот, накрыл я Гузал одеялом и только на дыпочках отошел, она вдруг — рраз! — и с боку на бок как перевернется! Я даже испугался. Ну, думаю, сейчас проснется, холопот не оберешься. Сразу начнет канючить: «Я тоже в школу пойду...» Она еще с вечера все приготовила. Сложила в мой старый портфель игрушки, книжки с картинками, цветные карандаши и положила на стол. И рядом — красный флажок. Сколько мы ее ни уговаривали: куда, мол, торопиться, тебе еще целый год в садик ходить, а она ни в какую. Заладила одно: «Шухратке можно, а мне нельзя? Я с ним вместе пойду». «Так Шухрату, — говорю, — время подоспело в школу идти, ему уже семь лет исполнилось, а тебе только шесть». Так и не уговорил. «Все равно, — говорит, — пойду». И успокоилась только тогда, когда я пообещал ее с собой в школу взять.

Отошел я подальше от Гузал, сел на стул, а что дальше делать — не знаю. Может, думаю, прямо сейчас в школу отправиться, чтобы самым первым оказаться, все классы обойти? Так все равно сторож не пустит. Еще и ворчать станет: «Носит, мол, тебя здесь ни свет, ни заря». И потом, как уйдешь, ничего матери не сказав? И время, как назло, медленно тянется. Кажется, давно уже встал, а всего только десять минут прошло.

Пошел я тихонько в другую комнату. Смотрю, на столе портфель стоит. Коричневый, кожаный — тот самый, что тетя Лена в день рождения подарила. Открыл я портфель: все на месте — новые учебники, тетради, ручка, карандаши — все, все. Это я еще с вечера приготовил. Взял я его — и к зеркалу. Стою, люблюсь. Хоть и в одних трусах только и с портфелем в руке, а все равно красиво.

Положил я портфель на место и опять не знаю, что бы такое сделать. Хорошо бы на рубабе поиграть. Я за лето «Пусть всегда будет солнце» выучил и еще несколько пионерских песен. Ничего получается. Только все равно нельзя сейчас играть: Гузал проснется. Ага, думаю, надо календарь почитать, что там про сегодняшний день написано. Только подошел к календарю, мать появляется.

— Ты что, Хаятджан, в такую рань делаешь?

— Да так, ничего.

— Пospал бы, времени еще много.

Легко сказать: «поспал бы». А что делать, если не спится. И разве до сна сегодня, в такой праздник? Как она этого не понимает? Хотя она ведь школу давно кончила, все позабыла.

— Ладно, — ответил я и стал читать, что написано в календаре про первое сентября.

Читаю, а сам думаю о своих друзьях-приятелях. Интересно, что они сейчас делают? Тоже, наверное, в школу собираются. А может быть и нет. Хотя Эркин, тот наверняка уже встал. И Дильшад тоже. А Саша? И Саша, конечно. Он и в лагере до сигнала просыпался. Может, и он сейчас обо мне думает. Ему ведь тоже в первый раз в четвертый класс идти. Сегодня же, как вернусь из школы, обязательно письмо ему напишу. И он мне напишет. Мы так договорились.

Недавно отец опять уехал в пустыню, и вчера мы получили от него письмо. Это только так говорится — «пустыня», а на самом деле там уже новые поселки выросли, и люди хлопок сеют, и садов там уже много. Первого сентября ребята, которые там живут, писал отец, тоже пойдут в новые школы. И они, думал я, сейчас готовятся. И в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Фергане — везде. По всей стране детвора в школу собирается.

Взял я ножницы и вышел во двор. Красивые такие ножницы, специально, чтобы цветы срезать. Их нам папин приятель подарил, ботаник. Я каждый раз, как цветов нарежу, сухой тряпкой их вытираю, чтоб не заржавели. Это отец меня научил. Он, вообще, любит, чтобы все в полном порядке было.

Нарезал я два букета цветов. Самых красивых. Вчера я тоже много цветов нарезал. И Дильшад с Садыком принесли. Только все равно не хватило. А знаете, почему? Много, оказывается, цветов нужно, чтобы из них «Добро пожаловать!» написать. И

трудное это дело. Хоть и помогал нам вожатый Тулкун, а все же до самого вечера пришлось провозиться. Все наше звено работало. Кроме Сабира, конечно. Он, как всегда, фотографировал.

Многие ребята, наверно, удивятся, увидев сегодня над школьной дверью: «Добро пожаловать!» Вообще-то, они, конечно, и раньше видели такое приветствие, только оно было на красном материале зубным порошком написано, а чтобы из цветов — такого еще не бывало. Наверно, станут допытываться, кто это так здорово сделал... Собрав два букета, я только открыл кран, чтобы до пояса умыться холодной водой, как вдруг заговорило радио. Это, должно быть, мама включила. Вот так раз! Я-то стараюсь все делать тихо, чтоб не разбудить Гузал, а она... Теперь все пропало. Сейчас, думаю, выскочит, меня искать станет. Так и вышло. Увидела меня в окно, прибежала и давай приставать:

— Хаятджан, а Хаятджан, намери и мне цветов. Мне тоже букет нужен. Ну намери, пожалуйста.

Вот так всегда. Когда ей чего-нибудь надо, она такой вежливой, ласковой становится.

А мама услышала и говорит:

— Тебе нужен букет, ты и нарежь, не маленькая.

— Да, не маленькая, а как я их нарежу, они колючие. — И опять ко мне: — Хаятджан, миленький, ну намери мне букет, знаешь, как я тебя любить буду.

Вот ведь лиса какая. Не сделаешь — не отвяжется. Пришлось нарезать ей букет, хоть и небольшой, а красивый.

А тут и зарядку начали по радио передавать. Мы с Гузал всегда вместе зарядку делаем. И все у нее получается, только в беге она за мной угнаться не может. Бежит, бежит изо всех сил, тапочки на бегу теряет, а потом, как увидит, что ей меня не догнать, остановится и давай реветь. Только сегодня она не стала плакать.

Сели мы завтракать, а мне и кусок в горло не лезет. Тороплюсь, горячим чаем обжигаюсь, боюсь опоздать. Чудно. Сроду я еще в школу не опаздывал. Да и как опоздать: до школы рукой подать, каких-нибудь пять-шесть минут ходьбы. Это если тихим шагом идти, а если побыстрее — за три-четыре минуты успеть можно. А я, чудак, спешу, и Гузал, глядя на меня, торопится, целые куски проглатывает.

Выскочил я из-за стола, даже чая не допив, и давай одеваться. Только Гузал меня на этот раз опередила. Стал я ремень искать, завозился, а она тут как тут. Рот до ушей, в одной руке портфель, в другой — флажок и чайная ложка, а с нее варенье на пол капает. И смешно, и обидно. Я, конечно, засмеялся, а сам думаю: как же это я ее с собой в школу возьму?

А на линейке где она стоять будет? Неужели со мной? А когда в класс пойдем, куда ее девать? Думал, думал, ничего не придумал и решил схитрить. Взял потихоньку портфель, цветы, чтоб незаметно ускользнуть, а она ушки наострила и за каждым моим движением следит. Поняла, значит, что ее оставить хочу, разобиделась. Такую рожицу скорчила, что мне ее жаль стало. Ладно, думаю, возьму, а там будь что будет. Да и мама вмешалась: «Постой, — говорит, — вместе пойдем, и я пойду с вами».

Вышли мы втроем из дома, идем, а тут из-за угла Эркин с братишкой Шухратом выскакивают. Я же вам говорил, что Шухрат нынче в первый класс идет. Мы с Эркином салютуем друг другу, а малыши, глядя на нас — тоже, хотя они и не пионеры вовсе. Умора!

Я вспомнил, как сам шел в первый класс. Мама меня тогда за руку вела, как сейчас Гузал. Помню, я вырывался, сам хотел идти, а она все равно не отпускала. Давно это было. Сегодня я уже в четвертый класс иду.

А вот и школа. И здание, и школьный двор разукрашены, как в самый большой праздник, а все равно «Добро пожаловать!», что мы из цветов написали, издалека видать. Двор полон ребят, все нарядные, веселые. Я сразу увидел своих приятелей и к ним. Стоим, болтаем, а Сабир со своим фотоаппаратом словно из-под земли появился и «щелк» — запечатлел, значит, для истории.

Через несколько минут все наши ребята собрались, только Турсуна не оказалось. Но и он, сказали, придет, ему дальше всех идти.

Войдя в класс, я сразу же кинулся к учительскому столу, чтобы цветы в вазу поставить, а она оказалась уже занята, и вообще на столе свободного места не было — одни цветы. Пришлось и мне свой букет положить, только положил я их на самый верх.

Сел я за свою парту и принялся класс рассматривать. Все как-будто новое, словно вообще впервые сюда ученики пришли, и свежей краской пахнет. И хотя мы еще вчера не только свой класс, а всю школу осмотрели, все равно интересно.

По школьному радио объявили: «Всем строиться на торжественную линейку», и ребята гурьбой ринулись в коридор, чуть дверь не вышибли. Я на бегу оглянулся и увидел на двери новую табличку с надписью «IV«В»». Я сперва даже удивился, подумал, что это мы по ошибке в чужой класс пришли, а потом вспомнил, что никакой ошибки тут нет, просто мы стали на год старше. Интересно, почему это вчера мне такое в голову не пришло?

Через несколько минут началась линейка. Все ребята застыли, как на параде, а перед строем директор, учителя, старший



вожатый — и все нарядные, торжественные, как на праздник пришли.

Чуть в стороне — родители. Я сразу увидел маму и Гузал. Вид у нее был недовольный. Я понял: она хотела встать в строй с первоклассниками, а мама ей не разрешила.

Усман Назарович, наш директор, сказал речь:

— Ребята, сегодня в Москве, Ленинграде, Мурманске, Алма-Ате, Самарканде, на Сахалине — во всех городах и селах Советского Союза начался учебный год. Счастливая советская детвора от всего сердца благодарит Коммунистическую партию, наше правительство, своих учителей за заботу, за возможность учиться, чтобы стать полезными гражданами нашей любимой Родины. — Все захлопали. А директор продолжал: — Пройдет год, вы станете взрослее, узнаете много нового. Часть из вас окончит школу, уйдет в большую жизнь, а мы примем новое пополнение. И так будет всегда.

Он хотел еще что-то сказать, но тут Гузал, подумавшая, наверно, что она и есть новое пополнение, сорвалась с места и бросилась к нему со своим букетом, но, должно быть, испугалась и отдала цветы учительнице узбекского языка.

Линейка закончилась и прозвенел звонок на первый урок. Гузал подбежала ко мне и оглядываясь, чтоб никто не услышал, таинственно зашептала:

— Ты поскорей учись, чтобы побыстрее пришло... новое пополнение. Хоп?

ТАЙНА

Это было в начале третьей четверти. На первом уроке учитель узбекского языка Нурмат Ахмедович вызвал к доске Тургуна.

— В каникулы, я слышал, ты нагулялся вволю. Что ж, это неплохо. А вот не позабыл ли пройденный материал? Расскажи-ка нам, что тебе известно о сложных существительных?



Стоит Тургун, с ноги на ногу переминается, тоскливо смотрит в окно на снежную круговерть. А что ему сказать? Спросили бы его, как он провел каникулы, вот бы уж он развернулся. И про то, как целыми днями в хоккей гонял, и как в Чимган ездил, и как каждый день спал до полудня...

А тут на тебе, пожалуйста, — сложные существительные. Надо же? Только не стоять же молча у доски, что-то говорить нужно.

— Сложным существительным называется... — начал он, — это... ну как сказать... существительное, которое не простое, а сложное...

В классе, конечно, хохот, а если разобратся, так ничего тут смешного нет.

Надо, думаю, выручать приятеля, а то опять двойку схлопочет. Вот дома-то не нарадуются! Стал я быстро-быстро листать учебник, чтобы найти правило, потому что если уж подсказать, так чтоб ошибки не было.

И вдруг как гром среди ясного дня:

— Скажи-ка ты, Хаят.

Вот тебе и на. Ничего не поделаешь, надо отвечать.

— Сложным существительным, — говорю, — называется такое существительное, которое состоит из двух или нескольких существительных.

— Неправильно, неправильно! — зашумели вокруг.

— Тише, ребята, — успокоил класс Нурмат Ахмедович. — А не приведешь ли ты пример?

Час от часу не легче.

— Например... например... это... как его...

Силюсь, силюсь вспомнить, а ни один пример, как назло, в голову не идет.

— Садись, Хаят, не ожидал я от тебя этого, — укоризненно указал учитель.

А со мной и вправду никогда такого не случалось. Всегда получал одни пятерки, и вот... Стыдно людям в глаза смотреть.

— Кому мы поручали помочь Тургуну во время каникул? — обратился Нурмат Ахмедович к классу.

— Хаяту.

— Да, нехорошо получилось. Выходит, Хаят и сам теперь в помощи нуждается.

Что тут скажешь? Сижу, головы поднять не смею. А что стоило ну хотя бы вчера как следует позаниматься, к урокам подготовиться? Ведь знаю же, что Нурмат Ахмедович всегда после каникул пройденный материал спрашивает. Так нет, опять Тургуна послушался. Доигрался, одним словом.

Никакой радости от учебы я в тот день не получил. До конца занятий просидел за своей партой, даже на перемене не выходил. Раза два подходил ко мне Тургун, пытался разговор завести, да я его и слушать не стал. Это же он во всем виноват. Сам в двойках по уши завяз и меня заразить norовит.

После уроков состоялось заседание совета отряда. Тургуну тоже велели остаться. Только мы собрались, приходит Нурмат

Ахмедович. Сел за последнюю парту и наблюдает, что дальше будет. Я сразу почувствовал, что дело худо, нас с Тургуном обсуждать собираются. Что делать? Может, сказать всю правду? Тогда придется тайну раскрывать. А если не сказать? Так ничего и не придумал.

— Ребята, — начал заседание Хашим Рустапов, — мы поручили отличнику Хаяту Садыкову помочь отстающему Тургуну по родному языку. Как он выполнил наше поручение, вы сегодня видели.

Все повернулись в мою сторону, и учитель тоже.

— Пусть объяснит причину, — зашумели ребята, — нечего отмалчиваться. А еще член совета отряда!

Встал я с места, а ничего сказать не могу, язык к небу прилип.

— Моя вина... — пролепетал я.

— Это мы и без тебя знаем. Ты расскажи, почему так получилось, — потребовал Хашим. Он такой — припрет к стенке, не отвертись.

Что делать? Глянул я на Тургуна, а он как кипятком ошпаренный стоит. Была не была, решил я, расскажу всю правду. А то еще подумают, что я его боюсь.

— Правильно тут говорили, — начал я, — мне было поручено заниматься с Тургуном. Поручение я не выполнил. А почему — я сейчас расскажу. Мы с ним договорились, что в первый же день каникул он придет ко мне. И он действительно пришел. Только без книг, без тетрадей, без ничего. «Пойдем, — говорит, — к нам заниматься, я, — говорит, — дома лучше все пойму». Раз так, думаю, пойдем. Ну, мы немного позанимались, а он: «Давай, — говорит, — в театр сбегает». «Как, — спрашиваю, — в театр? А заниматься кто за нас будет? Да и денег на билет у меня нет, и мать ничего не знает». А он: «Привыкай, брат, своим умом жить, нечего о каждом своем шаге матери докладывать. А о билете не беспокойся, мы и так пройдем. Ты там такое увидишь, чего еще никто не видал». Ну я и согласился. Пришли мы в театр, он с каким-то дяденькой, что у входа стоял, поздоровался и, как ни в чем не бывало, входит в фойе. Я за ним. А он не в зал, хотя билета уже и показывать не надо, а по длинному коридору напрямик на сцену идет. «Постой, — говорит, — у двери, я мигом». Сбегал он куда-то и тут же вернулся. «Эх, — говорит, — зря мы пришли. Нет сегодня спектакля, концерт. Но мы все равно посмотрим, даром же!

Назавтра он опять пристал: пойдем да пойдем в театр. Я отказываюсь, а он ни в какую. «Эх ты, — говорит, — ну скажи, ты когда-нибудь настоящих артистов вот так, рядом с собой видел? А сцену? А костюмы? А декорации? Пошли, я тебе все покажу». И в этот раз мы прошли в театр без всякой задержки,



только не через главный вход, а сзади. Вошли мы в большую комнату, а там полным-полно артистов. Разговаривают, смеются, чай пьют. А одна, в царской одежде, детскую шапочку вяжет. Я засмотрелся, а Тургун меня за рукав тянет: пойдем мол. Прошли мы в другую комнату. Смотрю, на окнах красивые занавески, стол, стулья, телефон, на шкафу глобус стоит. Я подумал, что это кабинет директора, а Тургун говорит: «Что ты, это все не настоящее, это декорации. Тут сейчас спектакль будут играть. Пойдем, я тебе такое покажу — закачаешься. «Повел он меня за сцену, а там чего только нет: царский трон, кровати какие-то диковинные, целые куски домов, и все это не всамделишное, а из досок и фанеры сделанное. Даже елка, и та из фанеры. А так посмотришь, все как настоящее. Я испугался, что увидит нас кто-нибудь и выпроводит, а Тургун говорит: «Не трусь, со мной тебя никто не тронет. Пошли в зал, сейчас спектакль начнется». «А может, — говорю, — не стоит, у нас же билетов нет?..»

Все это я рассказывал, не глядя на Тургуна. А тут взглянул — злой сидит, напыжился весь, глаза гневом горят: что ж ты, мол, тайну-то выдал? А какая это тайна? И потом я же не где-нибудь рассказываю — на совете отряда.

— Ну, а дальше что было? — спросил Нурмат Ахмедович.

— Вот так каждый день и ходили. Не заметили, как каникулы пролетели. И с Тургуном не занимался, и сам ничего не повторил.

— А кто вас в театр пропускал? — заинтересовался Эркин.

— Дядя Тургуна там столяром работает, вот он его пару раз пропустил, а потом там все к нему и привыкли... Только вы не думайте, что это мы из-за денег, просто так вышло. Больше этого не будет, верно, Тургун? А поручение совета отряда я все равно выполню, честное пионерское.

— А ты что скажешь, герой? — обратился к Тургуну Хашим.

Тургун поднялся, оперся обеими руками о парту и смотрит исподлобья на Хашима. Ну, думаю, сейчас скажет: «А тебе, мол, что, больше всех надо?» Это он всегда так говорит, когда ему кто-нибудь замечание делает. Только зря я так подумал. Тургун выпрямился, обвел взглядом ребят и говорит:

— Все. Точка. Больше это не повторится.

Тут стали говорить члены совета отряда. Эркин, Талъат — все выступили. Здорово нам досталось, особенно мне — как члену совета.

А в конце выступил Хашим:

— Хаят сильно провинился. Он нарушил пионерскую клятву, не сдержал слово. И товарища, и себя, и всех нас обманул. По всем правилам его нужно строго наказать. Но раз он честно

рассказал, как все было, я думаю, мы его пока простим. Как вы считаете?

— Правильно, — поддержали его ребята.

— А что касается Тургуна, — продолжал Хашим, — то мы пойдем к нему домой и расскажем обо всем его родителям. И дяде скажем, чтоб не пускал его без билета. Мало ли у кого где родственники работают. У меня вон тетя официантка в павильоне «Снежинка», так я, выходит, тоже могу бесплатно мороженое есть? И еще: я предлагаю дополнительно прикрепить к Тургуну Эркина и Анвара. Пусть вместе с Хаятом его из двоек вытаскивают.

Так и порешили. Уже целый месяц собираемся мы у Тургуна и готовим уроки. И в кино вместе ходим. А однажды ходили в театр. Купили билеты и пошли. Только конфуз вышел. Увидел нас дядя Тургуна Холмат-ака, подозвал к себе и говорит: «Ну что, племянничек, нескладно получилось? Пришлось и мне из-за тебя, двоечника, краснеть». «Это все теперь в прошлом, дядя Холмат, — поддержали мы приятеля. — Он знаете как сейчас занимается?»

И правда, дела у Тургуна в гору пошли, да и я тоже в отличники вышел.

Сидим мы с ним на днях, к контрольной готовимся, а он мне и говорит:

— А все-таки хорошо, что ты тогда не струсил, правду сказал. Зря я на тебя обиделся.



НАХОДКА

Начались каникулы и все ребята разъехались по пионерским лагерям. Кто в Чимган, кто в Хумсан, а Сабир — в Бурчмуллу. От него письмо пришло. Вон оно, на столе, рядом с пеналом лежит. Пишет про то, как там хорошо, весело, а в самом конце приписка: «Я тут новый орнамент придумал, восьмиугольный. Приеду — покажу».

Сабир и рисует, и лепит, они с Талатом в одну изостудию ходят. Самое любимое занятие у них — разные замысловатые орнаменты придумывать. Вот и сейчас, перерисовывая начисто новый орнамент, Талат глянул на конверт и, вынув письмо, стал, в который раз, перечитывать. «Вот это почерк, — подумал он, — залобуешься! Ведь торопится вечно, строчит, а все равно — красотища! И орнаменты у него здорово получаются — аккуратные, красивые, все уголки и завиточки, как напечатанные». Целый год мечтал Талат вместе с Сабиром в лагерь поехать, а не вышло. Как мать одну оставишь? Отец-то в командировке.

Подперев подбородок линейкой, Талат думал о том, как хорошо было бы им с Сабиром в лагере, сколько всего могли бы они напридумывать. Вдруг со двора послышались девчачьи голоса. Один — сестренки Шахло — он сразу узнал, а еще чьи? Он прислушался. Нет, не угадать. Если б нормально разговаривали, а то смеются, визжат...

И тут он вспомнил: сегодня же воскресенье! Тетя Фарида со своими близнецами, Фатимой и Зухрой, обещали прийти. Это они, должно быть, верещат. Вот еще Рано прибежит, и тогда... Что тогда будет! Через скакалку прыгать начнут, потом в классы станут играть, весь двор расчертят. А шума, шума сколько будет — хоть уши затыкай!

— Талат-ака! — закричала со двора Шахло. — Тетя Фарида пришла! С девочками!

Талат выглянул в окно. Ну вот, так и есть, уже в классы играют и Рано с ними. Вот егоза! И звать ее не надо, всегда тут как тут со своими косичками. Надо же, целых сорок штук напелла.

Рано закадычная подружка Шахло. Они в одном классе учатся, за одной партой сидят, вместе уроки готовят. Если Шахло нет дома, стало быть, она у Рано. В другом месте и искать нечего. «У тебя что, своего дома нет?» — отчитывал всякий раз сестренку Талат, да так, чтобы Рано слышала. А той хоть бы что. Смеется, закатывается, трясет своими косичками. Словом, недолюбливал ее Талат. А почему — и сам не знал. Просто так, не нравилась она ему — и все.

Вот и сейчас весь шум-гам из-за нее, уж это точно. Это она в классы играть затеяла, больше никому.

Матери не было дома и Талат опустил в двор встретить гостей. Первой навстречу ему бросилась Рано.

— Салам алейкум, Талат-ака!

— А-а, ты уже здесь? Все сорок запелла, не обсчиталась? — съехидничал Талат.

А с нее, как с гуся вода, заливается и все тут.

Вообще-то Рано ничего девчонка, хорошая даже, всегда старается услужить. Талат это сейчас, кажется, понял: она к нему первой кинулась, чтобы ему легче было начать разговор с гостями. Она-то знает, какой он застенчивый. Она всегда все знает...

Талат степенно, как взрослый, поздоровался с теткой, с двоюродными сестренками, спросил, как они закончили учебный год, почему не поехали в лагерь. Близнецы, смеясь и перебивая друг дружку, отвечали, что в следующий класс они перешли отличниками, а в лагерь не поехали потому, что им и дома весело. И вообще, разве могли бы они сейчас прийти к нему в гости, если бы были в лагере?

Талат слушал, только из-за вечной своей застенчивости смотрел не на них, а на расчерченный мелом асфальт. Взгляд его остановился на гальке, девочки играли в классы. Вернее, это только так называется — галька, а на самом деле это был небольшой осколок изразца. Он хотел было побежать, поднять его, но опять застеснялся девчонок. Еще чего доброго подумают,

что он из зависти им игру испортить хочет. Так и стоял он, не отрывая глаз от асфальта. Тем временем наступил черед Фатимы метать гальку. Она изловчилась и бросила ее в четвертый класс. Солнечный луч упал на лазурную поверхность изразца и весь он заискрился, заиграл радужным многоцветьем. Талат даже зажмурился от такой красоты. Он подошел поближе к девочкам, с тревогой наблюдая за каждым движением, вздрагивая каждый раз, когда плиточка гулко шлепалась об асфальт. Наконец, не стерпев, он одним прыжком очутился около нее и, осторожно подняв, вытер о рукав налипшую грязь.

Талат увидел, что по краю лазурной поверхности была словно прочерчена ослепительно яркая красная линия. У него дух захватило от такой красоты. Так и стоял он как замороженный, не в силах оторвать глаз от плиточки.

Притихшие девочки, словно почуяв, что происходит что-то очень важное, с интересом наблюдали за ним.

Первой нарушила тишину Шахло:

— Отдайте нашу гальку! — закричала она.

— Постой, — остановила ее Зухра. — Что вы там увидели, Талат-ака?

— Чье это? — спросил Талат, будто не слыша ее вопроса.

— Мое, — ответила Зухра.

— И мое, — сказала Фатима.

Все засмеялись, а громче всех они сами.

— Где взяли?

— Нашли, — хором ответили близнецы.

— Обе, что ли?

— Ага, — пропела Зухра.

— Нет, не так было, — вмешалась Фатима, — ее Зухра с улицы принесла. Она сперва большая была, а потом поломалась. — Она протянула руку за изразцом.

— Ты погоди, — нетерпеливо остановил ее Талат, — а где остальные? Выбросили, что ли?

Сестры сконфуженно поглядывали то на Талата, то друг на дружку и пожимали плечами: откуда, мол, нам было знать, что это такая важная штука?

— А отломилась вот здесь? — Талат показал на красную линию.

— Да-а, — удивленно протянула Фатима, — а откуда вы знаете?

— Ака, дайте, мой черед бросать, — заканючила Шахло.

— Фатима, Зухра, а что если я вам другую гальку дам, еще лучшую, а вы мне эту, а?

— Не-ет, мы другую не хотим, нам эта нравится, — ответила за сестер Шахло.

— Мы сперва поиграем, ладно, Талат-ака? — вмешалась Рано.

— А ты помалкивай... сорок косичек! — одернул ее Талат.

Зажав в обеих руках плиточку, он умоляюще смотрел на сестер: «Ну отдайте же, что вам стоит?», а они, не зная, что делать, стояли, опустив головы и ковыряя носками сандалий землю. Заметив, что девочки колеблются, Талат юркнул в подъезд, перепрыгивая через ступеньки, взлетел на третий этаж и спустился несколько минут, вернулся. В руках у него был небольшой кружок, величиной с кулечу, маленькую сдобную лепешку, что мама печет по праздникам, только еще красивей — с ярким ободком по краю и крупными горошинами на выпуклой поверхности.

— Вот, возьмите, — он протянул кружок близнецам.

— А мне? — захныкала Шахло.

— Я и тебе вылеплю.

— Да-а, вылепите... опять обманете...

Девочки с восхищением рассматривали кружок, передавая его из рук в руки, а Талат с нетерпением ждал, что они скажут: согласны меняться или нет? А девочки и не думали об обмене. Они решили, что это он подарил им такую штуку.

— Спасибо, Талат-ака, — сказала Фатима. — Кто это сделал?

— Я сам. Что, не нравится?

— Да что вы, очень красиво получилось.

— Ага, очень даже красиво, — поддакнула Зухра.

— В классы играть годится? — спросил Талат, польщенный похвалой.

— А можно в классы? — удивилась Фатима. — Она... она... же, как лепешка. Разве хлебом играют?

— Ага, разве хлебом играют? — поддержала ее Зухра.

— Хлебом нельзя, а этим можно. Потому что это обожженная глина, — ответил Талат. — А вот этим, — он показал на осколок изразца, — играть нельзя.

— Ой, — испуганно воскликнула Фатима, — так это же тоже глина и еще поломанная.

— Поломанная, — неуверенно подтвердила Зухра.

— Да хватит вам, — нетерпеливо перебила Шахло, — давай-те играть.

— Так как, меняемся? — с надеждой спросил Талат.

— Ну конечно же! — обрадовалась Фатима.

— Меняемся, меняемся! — захопала в ладоши Зухра и, взяв из рук Талата кружок, передала его Шахло. — Спасибо, Талат-ака!

Ликованию сестер не было предела. Они решили, что Талат специально для них вылепил такую красивую игрушку и, не зная, как подарить ее, придумал всю эту историю с обменом.

Да и Талат был рад. Наверное, вот так же радуется археолог, когда ему посчастливится обнаружить тысячелетиями лежавшие в толще земли следы древних цивилизаций.

Эх, до чего же хорош был лазурный, с алой каемкой по краю излома изразец! Если бы еще он был цел! Когда, где, кто его изготовил? Может, он когда-то украшал древнее здание, дворец какой-нибудь? Тогда к какой же эпохе его отнести? Пылкое воображение рисовало Талату картины одну заманчивей другой. Вот он докладывает о своей находке на историческом кружке, а вот уже ею заинтересовались ученые, о ней пишут в газетах и журналах... «А если?.. — подумал вдруг Талат, — а что если эта штука никакая не древняя? Мало ли, что ли, зданий сейчас украшают такими? А я... эх, размечтался, как маленький! Интересно, что сказал бы Сабир, если бы увидел это? Может, написать ему? Нет, не стоит, еще смеяться будет...»

Прошло три дня. Все это время Талат ни на минуту не расставался с осколком, без конца любовался им, даже ложась спать, клал его под подушку. А сегодня занятия в студии. Талат раздумывал: взять его с собой, показать ребятам, преподавателю или пусть лежит на письменном столе, как у заправского археолога? «Пожалуй, возьму, — решил он, — но ребятам показывать не стану, еще чего доброго отнимут или смеяться начнут, а преподавателю, Назиру Усмановичу, покажу».

Занятие, как назло, началось без преподавателя. Ребята сами чертили орнаменты. Талат то и дело лазил в карман, проверял, на месте ли осколок. «Эх, — с досадой думал он, — жаль, нет Назира Усмановича! Жди теперь до следующего раза!» Тут распахнулась дверь и в студию вошел Назир Усманович. Поздоровался и, тяжело дыша, сел в кресло. Устал, видать, здорово. Ребята продолжали заниматься, а он внимательно наблюдал за ними и вдруг поманил к себе пальцем Талата.

— Садись, — показал он на стоящий рядом стул. Талат продолжал стоять. — Что это ты сегодня какой-то не такой? Стряслось что-нибудь?

Талат покраснел, уставился в пол.

— Нет... ничего...

— Постой, постой, что-то тут не так. Дома-то все в порядке?

— Да, все нормально. Отец в командировке, мама работает. Сестренка тоже ничего. Только...

— Что только?



— Да ничего, это я так... я тут одну штуку нашел, можно покажу?

— Ну-ка, ну-ка...

Талат достал из кармана свое сокровище и протянул преподавателю.

Назир Усманович нацепил очки и долго, не отрывая взгляда, рассматривал лазурный осколок.

Таким Талат его еще не видел. Щеки его покраснелись, глаза зажглись молодым огнем.

— Где ты это нашел? — спросил он наконец.

Талат рассказал все, как было, объяснил, где живет тетя Фарида, ведь именно там девочки нашли чудесный осколок.

Назир Усманович одобрительно кивал головой.

— В старину там была махалла жестианчиков. Через нее проходила дорога на Чорсу, на базар. А неподалеку — медресе Кукельдаш. Оно и по сей день стоит.

— Знаю, красивое такое, — подтвердил Талат.

— Вот, вот, его реставрируют.

— Ага, я об этом в газете читал, и вы тоже рассказывали.

— Молодчина, — похвалил преподаватель. — Так вот, этот осколок оттуда. Медресе было облицовано такими плитками. Их уже почти что не осталось и потому каждая такая плиточка очень ценна. Да жаль, поломана она, а остальной части нет. Эх, жаль... — Назир Усманович покачал седой головой.

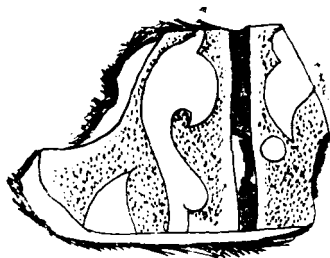
— Я найду! — горячо воскликнул Талат. — Я пойду туда, к тете. Я обязательно найду! Честное пионерское!

— Хорошо, хорошо. — Преподаватель опять залюбовался осколком. — Знаешь, сколько веков тому назад изготовил древний мастер эту штуку?

— Не знаю.

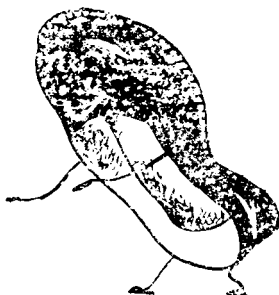
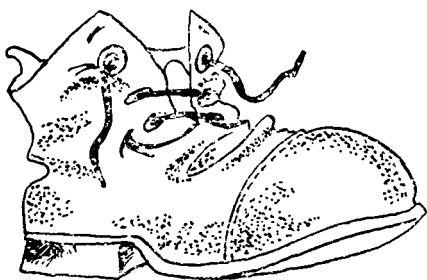
— Много. Может пять, а то и все семь. Называется она изразцом. Разные они бывают — и одного цвета, и многоцветные, как этот. Видишь, вот лазурь, а вот красный. Изготавливали их знаменитые мастера для украшения байских дворцов и мечетей. Немного их сохранилось, и те, что остались, надо беречь как зеницу ока, потому что в них — душа и талант народа, они будут радовать людей во все времена. Ведь сколько веков этому кусочку, а мы любуемся им, добрым словом поминаем мастера, который его изготовил. — Преподаватель еще раз взглянул на осколок, стер ладонью приставшую к нему пылинку и, улыбнувшись, протянул Талату. — Держи, может и ты когда-нибудь станешь таким мастером. А теперь покажи-ка мне свой орнамент...

Двадцать лет прошло с тех пор. Сбылось предсказание старого преподавателя. Талата уже зовут Талатом Негматовичем, сын его, Тахир, ходит в ту же изостудию, а сам он стал знаменитым резчиком, и если случится вам побывать в новом Дворце пионеров и zalюбоваться искусной резьбой по ганчу, знайте — это его работа.



ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ГАЛОША И БОТИНОК



Познакомились они в универмаге, на прилавке обувного отдела. А случилось это так.

— Покажите мне, пожалуйста, галоши, — обратилась к продавцу полная, среднего роста женщина.

— Вам какой размер? — спросил продавец.

— На десятилетнего мальчика. А размер я, извините, забыла. Да вот я башмачок захватила, может, по нему подберете? — сказала покупательница, доставая из сумки ботинок.

...Две галоши-близнецы мирно лежали на полке магазина, терпеливо ожидая, когда же, наконец, наступит их черед. Вдруг одна из них, правая, отделилась от сестры и с помощью ловкой руки продавца мигом очутилась на ботинке. Пришлась она ему в самую пору. Обрадовались они друг дружке и давай обниматься.

— Где ж ты была, милая Галошенька, я тебя так ждал, так ждал, ну просто заждался, — говорил Ботинок.

— Это ты-то меня ждал? — перебила его Галоша. — Вот уж я ждала так ждала, целых три дня на полке пролежала. Извелась вся.

— Ну ничего, не будем ссориться. Главное, что мы наконец встретились. Ох, какое у тебя чудесное платье, красное, пушистое и теплое-претеплое. Я вчера промок немного под дождем, а сейчас, видишь? — уже сухой. Это ты меня просушила.

— Теперь мы будем неразлучными друзьями и я никогда не дам тебе промокнуть, — улынулась Галоша.

— Очень хорошо. Будем дружить. А не скажешь ли, чья ты родом, откуда ты? — пропел Ботинок.

— Что, что? — переспросила Галоша, — я тебя не понимаю.

— Я спрашиваю, откуда ты сюда приехала, кто тебя изготовил?

— Ого, где я только ни была, чего только ни видела! А изготовила меня самая лучшая бригада. Видишь, на мне Знак качества?

— Вижу.

— Ну вот. Собрались однажды члены бригады — все передовики да ударники — и решили изготовить меня — самую красивую, самую теплую и самую прочную из галош. Вот я такая и получилась. И обязательно оправдаю их надежды. — Она скромно потупила взор и стала смущенно теревить бумагу, в которую только что была обернута.

— Так и должно быть, — одобрительно кивнул Ботинок. — А где ты после этого побывала?

— После этого меня хорошенько завернули в бумагу, положили в ящик и куда-то повезли. Шофер попался хороший, гнал машину что было мочи, и я получила огромное удовольствие. А потом оказалась в железнодорожном вагоне. Машинист тоже как будто знал, что ты меня ждешь не дожدهшься, и старался побыстрее доехать до станции назначения. Много разных городов и сел, лесов и полей я проехала, пока не прибыла сюда, в Ташкент. Здесь меня тоже очень хорошо встретили и сразу же повезли в магазин. Ну, а здесь уже я пролежала, пока ты не пришел.

— Хорошо тебе было в дороге?

— Очень. Правда, в ящике было тесновато и мне немного вдавило нос, но вот я встретилась с тобой и опять все хорошо. Скажи-ка, я тебе не жму?

— Нисколько, в самую пору пришлось. Вот сейчас мы придем домой и я тебя со своим хозяином познакомлю. Я думаю, он будет очень рад.

— Кто это — хозяин?

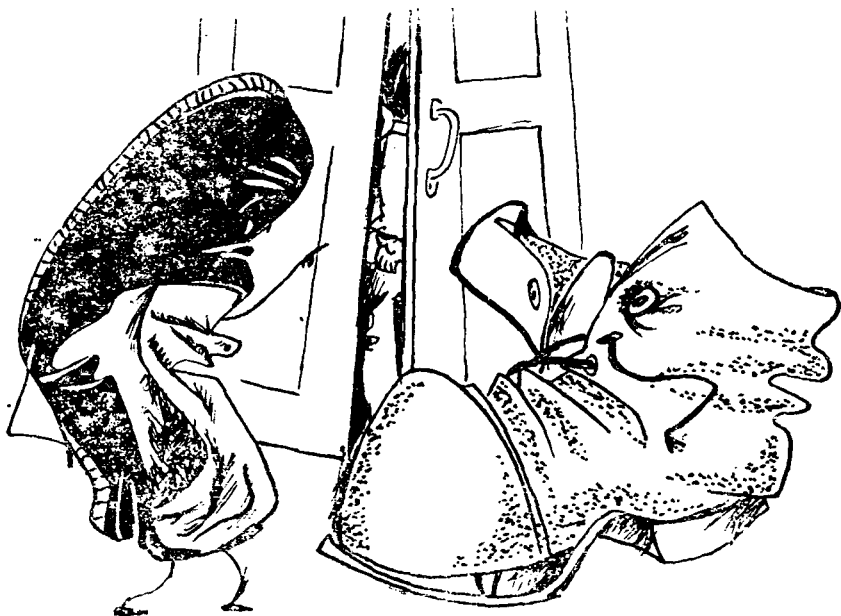
— Ну как тебе сказать — мальчик, Батыр.

— А почему его так зовут? Он что, такой сильный? — заинтересовалась Галоша.

— Да нет, не так чтобы очень сильный, — успокоил ее Ботинок. — Но зато примерный ученик, отличник. Не помню, чтобы он когда-нибудь «четверку» получил. Даже в стенгазете о нем писали. Только...

— Что — только?

— Нет, не скажу.



— Почему? — обиделась Галоша.

— Не люблю ябедничать. Вот познакомишься с ним, сама узнаешь, — насупился Ботинок.

Пришли они домой. Батыр, как увидел свой ботинок в новой галоше, бросил все дела, надел их и давай по дому прохаживаться да в зеркало смотреться. Поняла Галоша, что понравилась хозяину, и подумала про себя: «Да, видать и вправду хороший мальчик Батыр».

Прошло несколько дней. Галоша привыкла к новому дому, к школе, где учился Батыр, и чувствовала себя так, будто всю жизнь здесь провела. Только длилось это недолго. Однажды после первой смены ребята гурьбой, перегоняя друг дружку, направилась в раздевалку. Каждому ведь хочется побыстрее одеться, выбежать на улицу и всех выходящих снежками встречать. Одеваются, значит, они и вдруг слышат, как стонет одна галоша. Да, да, это была она, наша знакомая.

— Что с тобой, Галошенька? — участливо спросил Ботинок. А она в ответ:

— Ох, моченьки моей нету!

— Да скажи, наконец, что случилось?

— Что случилось, спрашиваешь? Будто сам не знаешь. Ой, ой, не стучи ты так каблуком, я и так налезу.

— Вот так раз! Да разве это я стучу? Мне, знаешь ли, тоже не легче. Но ничего, это еще цветочки, ягодки впереди.

— Ягодки? А какие они?

— Не торопись, — засмеялся Ботинко, — еще узнаешь.

— Нет, ты скажи, а то я знаешь какая любопытная? Я теперь даже спать не смогу, вот.

— Ну ладно. Ягодки — это только так говорится. Никаких ягодок не будет. А тумачков и шишек — сколько угодно. Раньше они все мне доставались. Уж если Батыру попадет на пути мяч, камень или, хуже, железяка какая-нибудь — ни за что мимо не пройдет, обязательно моим носом пнет, да так, что у меня из глаз искры во все стороны летят. А однажды ржавую консервную банку так поддел, что у меня до сих пор царапины не зажили. Вот посмотри, если не веришь. Поняла теперь, какие такие ягодки бывают? Да все это можно бы терпеть, а вот двери... У-ух! Как вспомню, пот прошибает. Лучше бы их вовсе не было.

— А почему?

— А потому, что все двери — и в школе, и дома, везде — он только моим лбом открывает. Как даст, в пору в обморок падать.

— Зачем же он так? На дверях же для этого специальные ручки есть.

— То-то и оно, что он никаких ручек не признает. Ну да мне не себя, двери жалко. Здорово им достается. Представляешь, что будет, если все ребята станут ногами двери открывать?

— Да, худо будет. Не выдержат они.

— Ну вот. А лянга чего стоит? Знаешь, какая у него лянга есть? Ты еще такой не видела. Ключок собачьего меха, а к нему тяжеленный кусок свинца прилеплен. Как начнет играть, так у меня челюсть трещит... Такие-то дела, подружка, — вздохнул Ботинко.

И началась у Галоши несчастная жизнь. То, что раньше перепадало Ботинку, теперь доставалось ей.

А однажды утром, проснувшись, она от боли не смогла встать и что было силы заплакала.

— Что с тобой, — участливо спросил Ботинко, — опять небось досталось?

— Не могу больше, сил моих нет, — простонала Галоша. — На что я теперь гожусь? Кто меня такую возьмет?

Глянул Ботинко, а у нее резина наполовину разодрана.

— Сочувствую, — говорит, — тебе, Галошенька, а помочь ничем не могу, сам в таком положении.

А Галоша продолжала жаловаться на свою горькую жизнь:

— С тех пор как я здесь, ни одного радостного дня не припомню, ни разу он меня чистой водой не умыл. Помнишь, тебе нравилось мое красное байковое платье? А что с ним стало? И

вовсе не красное оно теперь, а черное. И зубов у меня не осталось, все истерлись от постоянного скольжения по льду. Мне ведь еще и года нет, а уже так состарилась, что и в зеркало-то смотреться боюсь. Ну скажи, можно терпеть такое?

— Интересно, у всех наших братьев и сестер такая жизнь? — задумчиво произнес Ботинок.

— Что ты? Я как посмотрю в школьной раздевалке на другие галоши, так даже завидки берут, такие они чистые да ухоженные. Некоторые уже старенькие, а все равно целые и опрятные... У-уф, доконала меня эта проклятая петля.

— Какая петля? — удивился Ботинок.

— Ты разве не знаешь? Впрочем, откуда ж тебе знать, я ведь тебя прикрывала. Ты только подумай: разве кто-нибудь коньки к галошам привязывает? Нет. А он привязывает. Да еще как! Не веревкой какой-нибудь — электрическим шнуром, а он ведь как-никак внутри металлический. Так вот, он меня этим проводом как скрутил, так у меня все косточки затрещали и в голове помутилось. Вот и скажи, хорошо это?

— Да, худо нам, ох как худо, — согласился Ботинок. — А что делать, куда деваться?

— Ну, ты как знаешь, а я не хочу больше терпеть. Я вот что решила: если Батыр и дальше будет со мной так обращаться, возьму и нарочно разорвусь в каком-нибудь подходящем месте на кусочки.

— Не делай этого, Галошенька, — захныкал Ботинок, — обо мне подумай. Мне ведь без тебя и двух дней не протянуть, добьет он меня.

Вот так, сегодя на свою горькую судьбу, они и не заметили, как в прихожую, в пальто нараспашку, с шарфом в руке, выскочил Батыр и стал обуваться. Сунул с разбега ногу в ботинок, ботинок в галошу, да не до конца, и — на улицу. А там дождь попеременно со снегом. Батыр на ходу бьет пяткой, хочет галошу на ботинок натянуть, а она не поддается, пружинит и грязь из-под нее во все стороны разлетается, все брюки забрызгала. Осерчал тут Батыр, как стукнет изо всех сил, Галоша и разлетелась в клочья.

— Вот так раз, — огорченно протянул Батыр, — как я теперь в школу пойду? Я же на репетицию опаздываю...

— Мне теперь все равно пропадать, — пропищал Ботинок, — так я напоследок скажу: так тебе и надо, плохой ты хозяин, хуже некуда.



Кто вам сказал, что вещи не умеют говорить? Вот послушайте, какую историю я вам расскажу.

Отец Нурмата Ильхам-ака отдернул оконную занавеску, удобнее устроился на диване и стал читать. На дворе стоял погожий мартовский день. Обогретые весенним солнцем, начали подтаивать сосульки на водосточных трубах, из-под снежных сугробов потекли тоненькие мутные ручейки. Всеми цветами радуги засверкал на столе, отражая солнечные лучи, граненый графин. Лишь изредка нарушал тишину доносившийся с улицы гомон детворы да шорох переворачиваемых страниц. И вдруг из дальнего угла комнаты, где стоял большой трехстворчатый шкаф, послышались какие-то странные звуки, вроде писка: «чип... чип...» Ильхам-ака прислушался, но, решив, что это ему почудилось, опять принялся за чтение. Через некоторое время опять послышалось: «чип...» Что бы это могло быть? Неужели мыши? Сроду их в доме не водилось. Ильхам-ака снял очки, положил на книгу и открыл шкаф. Но ничего, кроме аккуратно развешенной одежды, он не увидел. Он уже хотел было приоткрыть дверку шкафа, как вдруг раздался все тот же звук. Внимательно прислушавшись, Ильхам-ака понял, что это разговаривают друг с другом... карманы. Да, да, карманы пиджака, что прошлой осенью купили Нурмату в «Детском мире». Один из

них, левый, оттопырился, еле вмещающая в себя резиновый мяч и еще кучу разных вещей. Другой же, хотя ничего из него и не торчало, был набит чем-то тяжелым, потому что правая сторона заметно перетягивала.

— Эх ты, — обиженно сказал правый карман, — а еще приятель. Настоящие приятели ношу поровну делают. Тебе-то небось легко, а я вот-вот оборвусь.

— Мне-то что, — ответил левый, — сам виноват. Позволяешь наталкивать в себя всякую всячину, вот и расхлебывай.

А тут заговорила и сама «всякая всячина».

— Хорошо еще, что я успел свое острое вонзить в резинку, а то ходить бы Нурмату с иглой в боку, — сказал циркуль.

— Нет, ты войди в мое положение, — перебило его лезвие, — сам знаешь, к чему я ни прикоснусь, сразу порежу. А он хоть бы догадался меня во что-нибудь обернуть. Хочешь не хочешь, а приходится лежать неподвижно, потому что пошевелюсь — обязательно что-нибудь задену.

— Это ты-то не шевелишься? — возмутилась киноплёнка, — я еще ни разу в аппарате не побывала, а уже вся изрезана. Кому я нужна такая? И все это твои проделки. Вертишься, как юла, а еще говоришь: «неподвижно». Ну скажи, на что ты годишься? Мы все, хоть и случайно здесь оказались, очень нужные ребятам вещи. А ты зачем нужна? Бриться Нурмату еще рано, а начнет, так тоже не в кармане будет тебя держать, а в специальной коробке. Понятно?

— Правильно! — хором запищали поломанная расческа, бутылочка из-под лекарства, блесна и пластмассовая баночка с надписью «Вазелин». Только красный карандаш их не поддержал.

— Как это? — сказал он, — выходит, все вы здесь нужные, одно лезвие лишнее? Те, кто так считает, могут немедленно отсюда убираться, потому что самый нужный здесь — я.

— А я? — спросило перо. — Какая же без меня учеба?

— Хм-м, — самодовольно хмыкнула резинка, — пусть попробует без меня что-нибудь начертить.

— Что-что? — закричала лягга, у которой от возмущения шерсть встала дыбом, — никуда я отсюда не уйду, без меня Нурмату знаете как скучно будет?

Очень не понравился этот разговор мячику, сломанной авторучке, булавке, фольге, мелким гвоздикам, болтику и другим вещам, лежащим в левом кармане.

— Подумаешь, какие они там чванливые, — разобиделся болтик. — Мы тоже себе цену знаем и не хотим здесь без дела ржаветь. Если и дальше так будет продолжаться, продырявим карман и разбежимся кто куда.



— А мне-то каково тут бездельничать? — пропела катушка с нитками. — Сколько я могла бы за это время новых вещей сшить или старых починить! А я чем занимаюсь? Только и делаю, что с бумажным змеем вверх-вниз мотаюсь. Изорвалась вся о провода и деревья, истрепаюсь. Эх, горе!

Не вытерпел правый карман.

— А ну замолчать! — прикрикнул он. — Ишь, рас-

шумелись. Дай вам волю, так вы и до утра не наговоритесь. А что будет, если разные всякие этикетки, старые билеты в кино и прочая мелюзга начнут плакаться?

— Постой, постой, — послышался тонкий голосок, — дай мне, пожалуйста, слово. В порядке исключения.

— А ты кто такой? — спросил правый карман.

— Я чистый, красивый носовой платок. По справедливости, только я один должен лежать в кармане. А Нурмат уже сколько времени меня в руки не берет. Так и лежу на бельевой полке без движения. Что вы на это скажете?

На мгновение воцарилась тишина. Потом обитатели правого кармана хором, как-будто сговорившись, сказали:

— Ты прав. Как только ты придешь, мы сразу же освободим тебе место.

Вдруг левый карман как чихнет, да так гулко, раскатисто, что правый от неожиданности вздрогнул.

— Это еще что за новости? — спросил он.

— И никакие вовсе не новости, просто мне в ноздрю табак попал, — ответил левый.

— Вот это уже совсем плохо, значит, в тебе и папиросы есть?

— Папирос-то нет, а коробка из-под них с табачной пылью вчера была. Пыль просыпалась, вот я и чихаю.

Правый карман хотел что-то сказать, но промолчал. Он вдруг почувствовал, что нити, которыми он был пришит к пиджаку, натянулись и готовы вот-вот порваться. К тому же магнит, тяжелой подковой лежавший на самом верху, давил на всех, кто лежал под ним, стараясь завладеть перочинным ножиком, и когда ему удавалось дотянуться до него, раздавался тот самый непонятный звук «чип... чип...», который Ильхам-ака принял за мышинный писк.

В это время Нурмат, вернувшись с улицы, проскользнул в свою комнату и принялся учить уроки. Ильхам-ака все еще продолжал читать, не обращая внимания на доносившиеся из шкафа звуки.

Вдруг в шкафу что-то грохнуло, будто булыжник упал.

Ильхам-ака и подоспевший Нурмат распахнули дверки и... то, что они увидели, заставило Нурмата так покраснеть, словно его до самых ушей натерли свеклой.

Лопнувший карман беспомощно болтался, а внизу беспорядочной грудой громоздилась всякая всячина; только магнит, так и не завладевший перочинным ножиком, лежал чуть в стороне.

С тех пор и закрепилась за Нурматом кличка «Карман». И кто знает, сколько еще его будут так называть?

СОДЕРЖАНИЕ

ТЫ НЕ СИРОТА. Киноповесть. Перевод с узбекского	
<i>Г. Марьяновского</i>	3
РАССКАЗЫ. Перевод с узбекского Л. Самойлова	
Как Сабир бдительность проявил	82
Сын бойца	87
Первое письмо	89
«Белое золото»	96
Зухра и Сабирджан	100
Лаббай	103
Дыхание весны	106
Эпизоды из жизни Хаята Садыкова	
День рождения	112
Экскурсия	120
Новые приятели	127
«Аклхана»	133
Первое сентября	133
Тайна	143
Находка	149
Юмористические рассказы	
Галоша и ботинок	157
«Карман»	162

Файзи Рахмат.

Дыхание весны: Киноповесть и рассказы/Р. Файзи; Пер. с узб. — Т.: «Ёш гвардия», 1978. — 168 с.

Уз2

Рахмат ФАЙЗИ

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

Киноповесть и рассказы

для детей младшего школьного
возраста

Перевод с узбекского

Редактор В. Новопрудский
Художник А. Сухарев
Худож. редактор К. Алиев
Техн. редактор Г. Ахмеджанова
Корректор З. Наджатова

ИБ 298

Сдано в набор 16/I-1978 г. Подписано в печать 23/III-1978 г. Печ. л. 10,5.
Усл. печ. л. 9,765 Уч-изд. л. 10,42 Бумага № 1. Формат 60×84¹/₁₆.
Тираж 45000. Цена 50 к. Договор № 159—77
Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана «Еш гвардия». 700129, Ташкент,
ул. Навои, 30.

Типография № 2 Ташкентского полиграфического производственного объединения «Матбуот» Государственного Комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров УзССР. Янгиюль, Ташкентской обл., ул. Самаркандская, 44. Зак. № 361.